

Горький Максим

**Автобиографические
рассказы**



Горький Максим
Автобиографические рассказы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21118934

Bookland; 0101

Содержание

I. Время Короленко	4
II. В. Г. Короленко	44
III. О вреде философии	70
МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ	88
ГОРОДОК	156
ЗНАХАРКА	169
ПАУК	185
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ	191
О первой любви	244
А. Н. ШМИТ	288
СТОРОЖ	307
ЗАМЕТКА ЧИТАТЕЛЯ	347

Максим Горький

Автобиографические рассказы

I. Время Короленко

...Вышел я из Царицына в мае на заре ветреного, тусклого дня, рассчитывая быть в Нижнем к сентябрю, – в этот год я призывался в солдаты.

Часть пути – по ночам – ехал с кондукторами товарных поездов на площадках тормозных вагонов, большую часть шагал пешком, зарабатывая на хлеб, по станицам, деревням, по монастырям. Гулял в Донской области, в Тамбовской и Рязанской губерниях, из Рязани – по Оке – свернул на Москву, зашел в Хамовники к Л. Н. Толстому, – Софья Андреевна сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру. Я встретил ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг, она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе с булкой и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Николаевичу шляется очень много темных бездельников, и что Россия, вообще, изобилует бездельниками. Я уже сам видел это и, не кривя душой, вежливо признал наблюдение умной женщины совершенно правильным.

Был конец сентября, землю щедро кропили осенние дожди, по щетинистым полям гулял холодный ветерок, леса были ярко раскрашены, – очень красивое время года, но несколько неудобно для путешествия пешком, а особенно – в худых сапогах.

На станции Москва-товарная я уговорил проводника пустить меня в скотский вагон, в нем восемь черкасских быков ехали в Нижний на бойню. Пятеро из них вели себя вполне солидно, но остальным я, почему-то, не понравился и они всю дорогу старались причинять мне различные неприятности; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали.

А проводник, – человечешко на кривых ногах, маленький, пьяный, с обкусанными усами, – возложил на меня обязанность кормить спутников моих, на остановках он совал в дверь вагона охапки сена, приказывая мне:

– Угощай.

Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая, что никогда уже не встречу в жизни моей скотов более грубых, чем эти.

В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах «Песнь старого дуба».

Я никогда не болел самонадеянностью, да еще – в то время – чувствовал себя малограмотным – но я искренно верил, что мною написана замечательная вещь. Я затискал в нее все, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой и

нелегкой жизни. Я был убежден, что, прочитав мою поэму, грамотное человечество благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, что правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле, и тотчас же после этого разыграет честная, чистая, веселая жизнь кроме и больше этого я ничего не желал.

В Нижнем жил Н. Е. Каронин; я изредка заходил к нему, но не решался показать мой философический труд. Больной, Николай Елпидифорович вызывал у меня острое чувство сострадания, и я всем существом моим ощущал, что этот человек мучительно упорно задумался над чем-то.

– Может быть, и так, – говорил он, выбивая из ноздрей густейшие струи дыма папиросы, снова глубоко вдыхал дым и, усмехаясь, оканчивал:

– А может быть, и не так...

Речи его вызывали у меня тягостное недоумение – мне казалось, что этот полузамученный человек имел право и должен был говорить как-то иначе, более определенно. Все это – и моя сердечная симпатия к нему – внушали мне некую осторожность в отношении к Петропавловскому, как будто я опасался что-то задеть в нем, сделать ему больно.

Я видел его в Казани, – где он остановился на несколько дней, возвращаясь из ссылки. Он вызвал у меня памятное впечатление человека, который всю свою жизнь попадал не туда, куда ему хотелось.

– В сущности, напрасно я сюда приехал!

Эти слова встретили меня, когда я вошел в сумрачную комнату одноэтажного флигеля на грязном дворе трактира ломовых извозчиков. Среди комнаты стоял высокий сутулый человек, задумчиво глядя на циферблат больших карманных часов. В пальцах другой руки густо дымилась папироса. Потом он начал шагать длинными ногами из угла в угол, кратко отвечая на вопросы хозяина квартиры С. Г. Сомова. Его близорукие, детски ясные глаза смотрели утомленно и озабоченно. На скулах и подбородке светлые шерстинки разной длины, на угловатом черепе – прямые давно немые волосы дьякона. Засунув левую руку в карман измятых брюк, он звенел там медью, а в правой руке держал папиросу, помахивая ею, как дирижер палочкою. Дышал дымом. Сухо покашливал и все смотрел на часы, уныло причмокивая. Движения плохо сложенного костлявого тела показывали, что человек этот мучительно устал. Постепенно в комнату влезло десятка полтора мрачных гимназистов, студентов, булочник и стекольщик.

Каронин приглушенным голосом чахоточного рассказывал о жизни в ссылке, о настроении политических ссыльных. Говорил он, ни на кого не глядя, словно беседуя с самим собою, часто делал короткие паузы и, сидя на подоконнике, беспомощно оглядывался, – над головою его была открыта форточка, в комнату вривался холодный воздух, насыщенный запахом навоза и лошадиной мочи. Волосы на голове Каронина шевелились, он приглаживал их длинными паль-

цами сухой костистой руки и отвечал на вопросы.

– Допустимо, но – я не уверен, что это именно так! Не знаю. Не умею сказать.

Каронин не понравился юношам. Они уже привыкли слышать людей, которые все знали и все умели сказать. И осторожность его повести вызвала у них ироническую оценку.

– Пуганая ворона.

Но товарищу моему, стекольщику Анатолию, показалось, что честную вдумчивость взгляда детских глаз Каронина и его частое «не знаю» – можно объяснить иной боязнью: человек, знающий жизнь, боится ввести в заблуждение мрачных кутят, сказав им больше, чем может искренно сказать. Люди непосредственного опыта – я и Анатолий – отнеслись к людям книг несколько недоверчиво; мы хорошо знали гимназистов и видели, что в этот час они притворяются серьезными, больше чем всегда.

Около полуночи Каронин вдруг замолчал, вышел на середину комнаты и, стоя в облаке дыма, крепко погладил лицо свое ладонями рук, точно умываясь невидимой водой. Потом вытащил часы откуда-то из-за пояса, поднес их к носу и торопливо сказал:

– Так – вот. Я должен итти. У меня дочь больна. Очень. Прощайте!

Крепко пожав горячими пальцами протянутые ему руки, он, покачиваясь, ушел, а мы начали междоусобную брань, – обязательное и неизбежное последствие всех таких бесед.

В Нижнем Каронин трепетно наблюдал за толстовским движением среди интеллигенции, помогал устраивать колонии в Симбирской губернии, – быструю гибель этой затеи он описал в рассказе «Борская колония».

– Попробуйте и вы «сесть на землю», – советовал он мне. – Может быть, это подойдет вам?

Но убийственные опыты любителей самоистязания не привлекали меня, к тому же в Москве я видел одного из главных основоположников «толстовства» М. Новоселова, организатора Тверской и Смоленской артелей, а затем – сотрудника «Православного Обозрения» и яростного врага Л. Н. Толстого.

Это был человек большого роста, видимо, значительной физической силы, он явно рисовался крайней упрощенностью, даже грубостью мысли и поведения, – за этой грубостью я почувствовал плохо скрытую злость честолюбца. Он резко отрицал «культуру», – что мне очень не понравилось, – культура – та область, куда я подвигался с великим трудом, сквозь множество препятствий.

Я встретил его в квартире нечаевца Орлова, переводчика Леопарди и Флобера, одного из организаторов прекрасного издания «Пантеон Литературы»; умный, широко образованный старик, целый вечер сокрушительно высмеивал «толстовство», которым я, в ту пору, несколько увлекался, видя в нем, однако, не что иное, как только возможность для меня временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пере-

житое мною.

...Я знал, конечно, что в Нижнем живет В. Г. Короленко, читал «Сон Макара», – рассказ этот почему-то не понравился мне.

Однажды, в дождливый день, знакомый, с которым я шел по улице, сказал, скосив глаз в сторону:

– Короленко!

По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий человек в мохнатом пальто, из-под мокрого зонтика я видел курчавую бороду. Человек этот напомнил мне тамбовских прасолов, – а у меня были солидные основания относиться враждебно к людям этого племени, и я не ощутил желания познакомиться с Короленко. Не возникло это желание и после совета, данного мне жандармским генералом, – одна из забавных шуток странной русской жизни.

Через несколько времени меня арестовали и посадили в одну из четырех башен нижегородской тюрьмы. В круглой моей камере не было ничего интересного, кроме надписи, выцарапанной на двери, окованной железом. Надпись гласила:

Все живое – из клетки.

Я долго соображал, что хотел сказать человек этими словами? И не зная, что это аксиома биологии, решил принять ее как печальное изречение юмориста.

Меня отвели на допрос к самому генералу Познанскому

и вот он, хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, отобранным у меня, говорит всхрапывая:

– Вы тут пишете стихи и вообще... Ну, и пишете. Хорошие стихи – приятно читать...

Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны некоторые истины. Я не думал, что эпитет «хорошие» относится именно к моим стихам. Но в то же время далеко не все интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма о стихах.

И. И. Сведенцов, литератор, гвардейский офицер, бывший ссыльный, прекрасно рассказывал о народовольцах, особенно восторженно о Вере Фигнер, – печатал мрачные повести в «толстых» журналах, но когда я прочитал ему стихи Фофанова:

Что ты сказала мне – я не расслышал.

Только сказала ты нежное что-то...

Он сердито зафыркал:

– Болтовня! Она, может быть, спросила его: который час? А он, дубина, обрадовался...

Генерал, – грузный, в серой тужурке с оторванными пуговицами, в серых, замызганных штанах с лампасами. Его опухшее лицо в седых волосах, густо расписано багровыми жилками, мокрые, мутные глаза смотрят печально, устало. Он показался мне заброшенным, жалким, но – симпатич-

ным, напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и скучно лаять.

Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму, пережитую этим генералом, знал, что дочь его – талантливая пианистка, а сам он – морфинист. Он был организатором и председателем «Технического Общества» в Нижнем, оспаривал, на заседаниях этого общества, значение кустарных промыслов и – открыл на главной улице города магазин для продажи кустарных изделий губернии; он посылал в Петербург доносы на земцев, Короленко и на губернатора Баранова, который сам любил писать доносы.

Все вокруг генерала было неряшливо: на кожаном диване, за спиною его, валялось измятое постельное белье, из-под дивана выглядывал грязный сапог и кусок алебаstra весом пуда в два. На косяках окон в клетках прыгали чижи, щеглята, снigiри, большой стол в углу кабинета загроможден физическими аппаратами, предо мной на столе лежала толстая книга на французском языке «Теория электричества» и томик Сеченова «Рефлексы головного мозга».

Старик непрерывно курил коротенькие толстые папиросы и обильный дым их неприятно тревожил меня, внушая смешную мысль, что табак напiтан морфием.

– Какой вы революционер? – брюзгливо говорил он. – Вы – не еврей, не поляк. Вот, – вы пишете, ну, что же? Вот, когда я выпущу вас, – покажите ваши рукописи Короленко, – знакомы с ним? Нет? это – серьезный писатель, не хуже Тур-

генева...

От генерала истекал какой-то тяжелый, душный запах. Говорить ему не хотелось, он вытягивал слово за словом лениво, с напряжением. Было скучно. Я рассматривал небольшую витрину рядом со столом, – в ней были разложены рядами металлические кружки.

Генерал, заметив мои косые взгляды, тяжело приподнялся, спросил:

– Интересно?

Подвинул кресло свое к витрине и, открыв ее, заговорил:

– Это – медали в память исторических событий и лиц. Вот взятие Бастилии, а это – в память победы Нельсона под Абукиром, – историю Франции знаете? Это – объединение швейцарских союзов, а это знаменитый Гальвани – смотрите, как прекрасно сделано. Это – Кювье, – значительно хуже!

На его багровом носу дрожало пенсне, влажные глаза оживились, он брал медали толстыми пальцами так осторожно, как будто это была не бронза, а стекло.

– Прекрасное искусство, – ворчал он и, смешно оттопыривая губы, сдувал пыль с медалей.

Я искренно восхищался красотой кружечков металла и видел, что старик нежно любит их.

Закрыв – со вздохом – витрину, он спросил меня: люблю ли я певчих птиц? Ну, в этой области я знал, вероятно, больше, чем три генерала. И между нами завязалась оживленнейшая беседа о птицах.

Старик уже вызвал жандарма, чтобы отправить меня в тюрьму, у косяка двери вытянулся солидный вахмистр, а его начальник все еще говорил сожалительно чмокая:

– Вот, знаете, не могу достать шура! – Замечательная птица! И, – вообще, – птицы прекрасный народ, правда? Ну, отправляйтесь с Богом... Да, – вспомнил он, – вам учиться надо, ну, там – писать, а не это...

Через несколько дней я снова сидел перед генералом, он сердито бормотал:

– Конечно, вы знали, куда уехал Сомов, и надо было сказать это мне, я бы сразу выпустил вас. И – не надо было издеваться над офицером, который делал обыск у вас... И – вообще...

Но вдруг, наклоняясь ко мне, он добродушно спросил:

– А теперь вы не ловите птиц?

... Лет через десять после забавного знакомства с генералом, я, арестованный, сидел в Нижегородском жандармском управлении, ожидая допроса. Ко мне подошел молодой адъютант и спросил:

– Вы помните генерала Познанского? – Это мой отец. Он умер, в Томске. Он очень интересовался вашей судьбой, – следил за вашими успехами в литературе и, нередко, говорил, что он первый почувствовал ваш талант. Не задолго до смерти он просил меня передать вам медали, которые нравились вам, – конечно, если вы пожелаете взять их...

Я был искренне тронут. Выйдя из тюрьмы, взял медали и

отдал их в Нижегородский музей.

... В солдаты меня не взяли; толстый, веселый доктор, несколько похожий на мясника, распорядясь точно боец быков на бойне, сказал, осмотрев меня:

– Дырявый, пробито легкое насквозь! Притом – расширена вена на ноге. Не годен!

Это крайне огорчило меня.

Не задолго до призыва я познакомился с офицером-топографом – Паскиным или Пасхаловым, не помню.

Участник боя под Кушкой, он интересно рисовал жизнь на границе Афганистана и весной должен был отправиться на Памир, работать по определению границ России. Высокий, жилистый, нервозный, он очень искусно писал маслом, – маленькие, забавные картинки военного быта в духе Федотова. Я чувствовал в нем что-то не слаженное, противоречивое, то, что именуют «ненормальным». Он уговаривал меня:

– Поступайте в топографическую команду, я возьму вас на Памиры! Вы увидите самое прекрасное на земле – пустыню. Горы, – это хаос, пустыня гармония!

И прищуриль большие, серые, странно блуждающие глаза, понижая до шопота мягкий, ласкающий голос, он таинственно жужжал о красоте пустыни, а я слушал, и меня, до немоты, изумляло: как можно столь обаятельно говорить о пустоте, о бескрайных песках, непоколебимом молчании, о зное и мучениях жажды?

– Ничего не значит, – сказал он, узнав, что меня не взяли

в солдаты. – Пишите заявление, что желаете поступить добровольцем в команду топографов и обязуетесь сдать требуемые экзамены, – я вам все устрою.

Заявление написано, подано; с трепетом жду результата. Через несколько дней Пасхалов смущенно сказал мне:

– Оказывается, – вы политически неблагонадежны; тут ничего нельзя сделать.

И, опустив глаза, он тихо добавил:

– Жаль, что вы скрыли от меня это обстоятельство!

Я сказал, что для меня это «обстоятельство» тоже новость, но он, кажется, не поверил мне. Скоро он уехал из города, а на святках я прочитал в Московской газете, что этот человек зарезался бритвой в бане.

... Жизнь моя шла путанно и трудно. Я работал в складе пива, перекачивал в сыром подвале бочки с места на место, мыл и купорил бутылки. Это занимало весь мой день. Поступил в контору водочного завода, но в первый же день службы на меня бросилась борзая собака жены управляющего завода, – я убил собаку ударом кулака по длинному черепу, и меня тотчас прогнали.

Однажды в тяжелый день, я решил, наконец, показать мою поэму В. Г. Короленко. Трое суток играла снежная буря, улицы были загромождены сугробами, крыши домов – в пышных шапках снега, скворешни – в серебряных чепчиках, стекла окон затянуты кружевами, а в белесом небе сияло, ослепляя, жгуче холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города во втором этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело работал широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной формы, с наушниками, в коротком, — по колени — плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских валенках.

Я полез сквозь сугроб на крыльцо.

— Вам кого?

— Короленко.

— Это я.

Из густой, курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня смотрели карие хорошие глаза. Я не узнал его; встретив на улице, я не видел его лица. Опираясь на лопату, он молча выслушал мои объяснения, причины визита, потом прищурился, вспоминая.

— Знакомая фамилия. Это не о вас ли писал мне, года два тому назад, некто Ромась, Михайло Антонов? Так!

Входя на лестницу, он спросил:

— Не холодно вам? Очень легко одеты.

И — не громко, как будто беседуя сам с собою:

— Упрямый мужик Ромась! Умный хохол. Где он теперь? В Вятке? Ага...

В маленькой, угловой комнатке, окнами в сад, тесно заставленной двумя рабочими конторками, шкафами книг и тремя стульями, он, отирая платком мокрую бороду и перелистывая мою толстую рукопись, говорил:

– Почитаем! Странный у вас почерк, с виду – простой, четкий, а читается трудно.

Рукопись лежала на коленях у него, он искоса поглядывал на ее страницы, на меня – мне было неловко.

– Тут у вас написано – «зизгаг», это... очевидно, описка, такого слова нет, есть – зигзаг...

Маленькая пауза перед словом «описка» дала мне понять, что В. Г. Короленко – человек, умеющий щадить самолюбие ближнего.

– Ромась писал мне, что мужики пытались порохом взорвать его, а потом подожгли, – да? Вы жили с ним в это время?

Он говорил и перелистывал рукопись.

– Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной неизбежности, вообще же лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли.

Это он говорил, между прочим, все расспрашивая о Ромасе, о деревне.

– Какое суровое лицо у вас! – неожиданно сказал он и, улыбаясь, спросил: – Трудно живется?

Его мягкая речь значительно отличалась от грубоватого окающего волжского говора, но я видел в нем странное сходство с волжским лоцманом, – оно было не только в его плотной, широкогрудой фигуре и зорком взгляде умных глаз,

но и в благодушном спокойствии, которое так свойственно людям, наблюдающим жизнь, как движение по извилистому руслу реки среди скрытых мелей и камней.

– Вы часто допускаете грубые слова, – должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это – бывает.

Я сказал, что – знаю: грубость свойственна мне, но у меня не было ни времени обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где бы я мог сделать это.

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

– Вы пишете: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться. Раз это так»... Раз – так, – не годится. Это – неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак, – вы слышите?

Я впервые слышал все это и хорошо чувствовал правду его замечаний.

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

– Место мало подходящее для такой позы и она не столько величественна, как неприлична, – сказал Короленко улыбаясь. Вот он нашел еще «описку», еще и еще. Я был раздавлен обилием их и, должно быть, покраснел, как раскаленный уголь. Заметив мое состояние, Короленко, смеясь, рассказал мне о каких-то ошибках Глеба Успенского; это было великодушно, а я уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного – бежать от срама... Известно, что литераторы и актеры самолюбивы, как пуделя.

Я ушел и несколько дней прожил в мрачном угнетении

духа.

Я видел какого-то особенного писателя: он ничем не похож на расшатанного и сердечно милого Каронина, не говоря о смешном Старостине. В нем нет ничего общего с угрюмым Сведенцовым-Ивановичем, автором тяжеловесных рассказов, который говорил мне:

– Рассказ должен ударить читателя по душе, как палкой, чтобы читатель чувствовал, какой он скот!

В этих словах было нечто сродное моему настроению. Короленко первый сказал мне веские человечески слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлен простой, понятной правдой этих слов, и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство – не легкое дело. Я сидел у него более двух часов, он много сказал мне, но – ни одного слова о сущности, о содержании моей поэмы. И я уже чувствовал, что ничего хорошего не услышу о ней.

Недели через две рыженький статистик Дрягин – милый и умный – принес мне рукопись и сообщил:

– Короленко думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что у вас есть способности, – но – надо писать с натуры, не философствуя. Потом у вас есть юмор, хотя и грубоватый, но – это хорошо! А о стихах он сказал – это бред!

На обложке рукописи карандашом, острым почерком написано:

«По «Песне» трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами

и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие. Вл. Кор.».

О содержании рукописи – ни слова. Что же читал в ней этот странный человек?

Из рукописи вылетели два листка стихов. Одно стихотворение было озаглавлено «Голос из горы идущему вверх», другое «Беседа чорта с колесом». Не помню, о чем именно беседовали чорт и колесо, – кажется, о «круговращении» жизни, – не помню, что именно говорил «голос из горы». Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь, голландку, и, сидя на полу, размышлял: – что значит писать о «пережитом»?

Все, написанное в поэме, я пережил...

И – стихи! Они случайно попали в рукопись. Они были маленькой тайной моей, я никому не показывал их, да и сам плохо понимал. Среди моих знакомых кожаные переводы Барыковой и Лихачева из Коппэ, Ришпэна, Т. Гуда и подобных поэтов ценились выше Пушкина, не говоря уже о мелодиях Фофанова. Королем поэзии считался Некрасов, молодежь восхищалась Надсоном, но зрелые люди и Надсона принимали – в лучшем случае – только снисходительно.

Меня считали серьезным человеком, солидные люди, которых я искренно уважал, дважды в неделю беседовали со мною о значении кустарных промыслов, о запросах народа и обязанностях интеллигенции, о гнилой заразе капитализ-

ма, который никогда – никогда! – не проникнет в мужицкую, социалистическую Русь.

И – вот, все теперь узнают, что я пишу какие-то бредовые стихи! Стало жалко людей, которые принуждены будут изменить свое доброе и серьезное отношение ко мне.

Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и, действительно, все время жизни в Нижнем – почти два года – ничего не писал. А – иногда очень хотелось.

С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву все очищающему огню.

–

...В. Г. Короленко стоял в стороне от группы интеллигентов-«радикалов», среди которых я чувствовал себя, как чиж в семье мудрых воронов.

Писателем, наиболее любезным для этой среды, был Н. Н. Златовратский, – о нем говорили: «Златовратский очищает душу и возвышает ее».

А один из наставников молодежи рекомендовал этого писателя так:

– Читайте Златовратского, я его лично знаю, это честный человек!

Глеба Успенского читали внимательно, хотя он подозревался в скептицизме, недопустимом по отношению к деревне. Читали Каронина, Мачтета, Засодимского, присматривались к Потапенко.

– Этот, кажется, ничего...

В почете был Мамин-Сибиряк, но говорили, что у него «неопределенная тенденция».

Тургенев, Достоевский, Л. Толстой были где-то далеко за пределами внимания. Религиозная проповедь Л. Н. Толстого оценивалась так:

– Дурит барин!

Короленко смущал моих знакомых; он был в ссылке, написал «Сон Макара» – это, разумеется, очень выдвигало его. Но – в рассказах Короленко было нечто подозрительное, непривычное чувству и уму людей, плененных чтением житейной литературы о деревне и мужике.

– От ума пишет, – говорили о нем – от ума, а народ можно понять только душой.

Особенно возмутил прекрасный рассказ «Ночью», в нем заметили уклон автора в сторону «метафизики», а это было преступно. Даже кто-то из кружка В. Г. – кажется Л. И. Богданович – написал довольно злую и остроумную пародию на этот рассказ.

– Ч-чепуха! – немножко заикаясь, говорил С. Г. Сомов, человек не совсем нормальный, но однако довольно влиятельный среди молодежи. – Оп-писание физиологического акта рождения, – дело специальной литературы и тараканы тут не при чем. Он п-подражает Толстому, этот К-короленко...

Но имя Короленко уже звучало во всех кружках города. Он становился центральной фигурой культурной жизни и,

как магнит, притягивал к себе внимание, симпатии и вражду людей.

– Ищет популярности, – говорили люди, не способные сказать ничего иного.

В то время было открыто серьезное воровство в местном дворянском банке; эта, весьма обычная, история имела весьма драматические последствия: главный виновник, провинциальный «лев и пожиратель сердец» умер в тюрьме; его жена отравилась соляной кислотой, растворив в ней медь; тотчас после похорон на ее могиле застрелился человек, любивший ее; один за другим умерли еще двое привлеченных к следствию по делу банка, – был слух, что оба они тоже кончили самоубийством.

В. Г. печатал в «Волжском Вестнике» статьи о делах банка, и его статьи совпали во времени с этими драмами. Чувствительные люди стали говорить, что Короленко «убивает людей корреспонденциями», а мой патрон А. И. Ланин горячо доказывал, что «в мире нет явлений, которые могут быть чужды художнику».

Известно, что клевета всего проще и дешевле, поэтому люди, нищие духом, довольно щедро награждали Короленко разнообразной клеветой.

В эти застойные годы жизнь кружилась медленно, восходя по невидимой спирали к неведомой цели своей, и все заметнее становилась в этом кружении коренастая фигура человека, похожего на лоцмана. В суде слушается дело скопцов, –

В. Г. сидит среди публики, зарисовывая в книжку полумертвые лица изуверов, его видишь в зале Земского собрания, за крестным ходом, всюду, – нет ни одного заметного события, которое не привлекало бы спокойного внимания Короленко.

Около него крепко сплотилась значительная группа разнообразно недюжинных людей: Н. Ф. Анненский, человек острого и живого ума; С. Я. Елпатьевский, врач и беллетрист, обладатель неисчерпаемого сокровища любви к людям, добродушный и веселый; Ангел И. Богданович, вдумчивый и едкий; «барин от революции» А. И. Иванчин-Писарев, А. А. Савельев, председатель земской управы Аполлон Карелин, автор самой краткой и красноречивой прокламации из всех, какие мне известны; после 1 марта 81-го года он расклеил по заборам Нижнего бумажку, содержащую всего два слова: «Требуите конституцию».

Кружок Короленко шутивно наименовался «Обществом трезвых философов», иногда члены кружка читали интересные рефераты, – я помню блестящий реферат Карелина о Сен-Жюсте и Елпатьевского о «новой поэзии», – каковой, в то время, считалась поэзия Фофанова, Фруга, Коринфского, Медведского, Минского, Мережковского... К «трезвым» «философам» примыкали земские статистики Дрягин, Кисляков, М. А. Плотников, Константинов, Шмидт и еще несколько таких же серьезных исследователей русской деревни, – каждый из них оставил глубокий след в деле изучения путаной жизни крестьянства. И каждый являлся цен-

тром небольшого кружка людей, которых эта таинственная жизнь глубоко интересовала, у каждого можно было кое-чему научиться. Лично для меня было очень полезно серьезное, лишенное всяческих прикрас, отношение к деревне. Таким образом, влияние кружка Короленко распространялось очень широко, проникая даже в среду, почти недоступную культурным влияниям.

У меня был приятель, дворник крупного Каспийского рыбопромышленника Маркова, Пимен Власьев, – обыкновенный, наскоро и незатейливо построенный, курносый русский мужик. Однажды, рассказывая мне о каких-то незаконных намерениях своего хозяина, он, таинственно понизив голос, сообщил:

– Он бы это дело сварганил, – да Короленки боится. Тут, знаешь, прислали из Петербурга тайного человека, Короленкой зовется, иностранному королю племяш, за границей наняли, чтобы он, значит, присматривал за делами, – на губернатора-то не надеются. Короленко этот уж подсек дворян слышал?¹.

Пимен был человек безграмотный и великий мечтатель; он обладал какой-то необыкновенно радостной верой в Бога

¹ Литератор С. Елеонский утверждал в печати, что легенда о В. Г. Короленко, как «агличком королевиче» суть «интеллигентная легенда». В свое время я писал ему, что он не прав в этом; легенда возникла в Нижнем-Новгороде, создателем ее я считаю Пимена Власьева. Легенда эта была очень распространена в Нижегородском краю. В 1903 г. я слышал ее во Владикавказе от Балахнинского плотника.

и уверенно ожидал в близком будущем конца «всякой лже».

– Ты, мил-друг, не тоскуй, – скоро лже конец. Она сама себя топит, сама себя ест.

Когда он говорил это, его мутновато-серые глаза, странно синяя, горели и сияли великой радостью – казалось, что вот сейчас расправятся они, изольются потоками синих лучей.

Как-то в субботу, помылись мы с ним в бане и пошли в трактир пить чай. Вдруг Пимен, глядя на меня милыми глазами, говорит:

– Постой-ка?

Рука его, державшая блюдечко чая, задрожала, он поставил блюдечко на стол и, к чему-то прислушиваясь, перекрестился.

– Что ты, Пимен?

– А видишь, мил-друг – сей минут божья думка душе моей коснулась, скоро, значит, Господь позовет меня на его работу...

– Полно-ка, ты такой здоровяга.

– Молчок! – сказал он важно и радостно. – Не говори – знаю!

В четверг его убила лошадь.

... Не преувеличивая можно сказать, что десятилетие 86 – 96 было для Нижнего «эпохой Короленко» – впрочем, это уже не однажды было сказано в печати.

Один из оригиналов города, водочный заводчик А. А. Зарубин, «неосторожный» банкрот, а в конце дней – убежден-

ный толстовец и проповедник трезвости, говорил мне в 901 году:

– Еще во время Короленки догадался я, что не ладно живу...

Он несколько опоздал наладить свою жизнь; «во время Короленки» ему было уже за пятьдесят лет, но все-таки он перестроил или, вернее, разрушил ее сразу, по-русски.

– Хворал я, лежу, – рассказывал он мне, – приходит племянник Семен, тот – знаешь? – в ссылке который, – он тогда студент был, – желаете, говорит, книжку почитаю? И, вот, братец ты мой, прочитал он «Сон Макаров», я даже заплакал, до того хорошо. Ведь как человек человека пожалеть может. С этого часа и повернуло меня. Позвал кума-приятеля, вот, говорю, сукин ты сын, – прочитай-ко. Тот прочитал, – богохульство – говорит. Рассердился я, сказал ему, подлецу, всю правду, – разругались навсегда. А у него – векселья мои были, и начал он меня подсиживать. Ну – мне, уж, все равно, дела я свои забросил, – душа отказалась от них. Объявили меня банкротом, почти три года в остроге сидел. Сижу – думаю: будет дурить. Выпустили из острога, – я, сейчас, к нему, Короленке, – учи. А его в городе нету. Ну, я ко Льву нашему, к Толстому... «Вот как», говорю. «Очень хорошо, – говорит, – вполне правильно». Так-то брат! А Горинов откуда ума достал. Тоже у Короленки; и много других знаю, которые его душой жили. Хоть мы, купечество, и за высокими заборами живем, а и до нас правда доходит.

Я высоко ценю рассказы такого рода, они объясняют, какими, иногда, путями проникает дух культуры в быт и нравы диких племен.

Зарубин был седобородый, грузный старик, с маленькими, мутными глазами на пухлом розовом лице; зрачки темные и казались странно выпуклыми, точно бусины. – Было что-то упрямое в его глазах. Он создал себе репутацию «защитника законности» копейкой; с какого-то обывателя полиция неправильно взыскала копейку, – Зарубин обжаловал действие полиции, в двух судебных инстанциях жалобу признали «неосновательной», – тогда старик поехал в Петербург, в Сенат, добился указа о запрещении взимать с обывателей копейку, торжествуя возвратился в Нижний, и принес указ в редакцию «Нижегородского Листка», предлагая опубликовать. Но, по распоряжению губернатора, цензор вычеркнул указ из гранок. Зарубин отправился к губернатору и спросил его:

– Ты, – он всем говорил «ты», – ты, что же, друг, законы не признаешь?

Указ напечатали.

Он ходил по улицам города в длинной черной поддевке, в нелепой шляпе на серебряных волосах и в кожаных сапогах с бархатными голенищами. Таскал под мышкой толстый портфель с уставом «Общества трезвости», с массой обывательских жалоб и прошений, уговаривал извозчиков не ругаться математическими словами, вмешивался во все улич-

ные скандалы, особенно наблюдал за поведением городских и называл свою деятельность «преследованием правды».

Приехал в Нижний знаменитый тогда священник Иоанн Кронштадтский; у Архиерейской церкви собралась огромная толпа почитателей отца Иоанна, Зарубин подошел и спросил:

– Что случилось?

– Ивана Кронштадтского ждут.

– Артиста императорских церквей? Дураки...

Его не обидели, – какой-то верующий мещанин взял его за рукав, отвел в сторону и внушительно попросил:

– Уйди скорее, Христа ради, Александр Александрович.

Мелкие обыватели относились к нему с почтительным любопытством и хотя некоторые называли «фокусником», но – большинство, считая старика своим защитником, ожидало от него каких-то чудес, – все равно каких, только бы неприятных городским властям.

В 901 году меня посадили в тюрьму, – Зарубин, тогда еще не знакомый со мною, – пришел к прокурору Утину и потребовал свидания.

– Вы – родственник арестованного? – спросил прокурор.

– И не видал никогда, не знаю – каков!

– Вы не имеете права на свидание.

– А – ты Евангелие читал? Там что сказано? Как же это, любезный, людьми вы правите, а Евангелие не знаете? Но у прокурора было свое Евангелие и, опираясь на него, он от-

казал старику в его странной просьбе.

Разумеется, Зарубин был одним из тех – нередких – русских людей, которые, пройдя путаную жизнь, под конец ее, – когда терять уже нечего становятся «праволюбам», являясь в сущности только чудаками.

И, конечно, гораздо значительнее по смыслу, – да и по результатам слова другого нижегородского купца Н. А. Бугрова. Миллионер, филантроп, старообрядец, и очень умный человек, он играл в Нижнем роль удельного князя. Однажды в лирическую минуту он пожаловался мне:

– Не умен, не силен, не догадлив народ, мы, купечество, еще не стяхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам садятся, – земщики эти ваши, земцы, Короленки – пастыри. Короленко – особо неприятный господин; с виду – простец, а везде его знают, везде проникает...

Этот отзыв я слышал уже весной 93-го года, возвратясь в Нижний после длительной прогулки по России и Кавказу. За это время – почти три года значение В. Г. Короленко как общественного деятеля и художника еще более возросло. Его участие в борьбе с голодом, стойкая и успешная оппозиция взбалмошному губернатору, Баранову, «влияние на деятельность земства», все это было широко известно. Кажется, уже вышла его книга «Голодный год».

Помню суждение о Короленко одного нижегородца, очень оригинального человека.

– Этот губернский предводитель оппозиции властям в

культурной стране организовал бы что-нибудь подобное «Армии спасения», или «Красного креста», – вообще нечто значительное, международное и культурное в истинном смысле этого понятия. А в милейших условиях русской жизни он, наверняка, израсходует свою энергию по мелочам. Жаль, – это очень ценный подарок судьбы нам, нищим. Оригинальнейшая, совершенно новая фигура, в прошлом нашем я не вижу подобной, точнее – равной.

– А что вы думаете о его литературном таланте?

– Думаю, что он не уверен в его силе и – напрасно. Он – типичный реформатор по всем качествам ума и чувства, но, кажется, это и мешает ему правильно оценить себя, как художника, хотя именно его качества реформатора должны были – в соединении с талантом – дать ему больше уверенности и смелости, в самооценке. Я боюсь, что он сочтет себя литератором, между прочим, а не прежде всего...

Это говорил один из героев романа Боборыкина «На ущербе», – человек распутный, пьяный, прекрасно образованный и очень умный. Мизантроп, он совершенно не умел говорить о людях хорошо или даже только снисходительно – тем ценно было для меня его мнение о Короленко.

Но возвращаюсь к 89 – 90 годам.

Я не ходил к Владимиру Галактионовичу, ибо – как уже сказано – решительно отказался от попыток писать. Встречал я его только изредка мельком на улицах или в собраниях у знакомых, где он держался молчаливо, спокойно при-

слушиваясь к спорам. Его спокойствие волновало меня. Подо мною все колебалось, вокруг меня – я хорошо видел это – начиналось некоторое брожение. Все волновались, спорили, – на чем же стоит этот человек? Но я не решался подойти к нему и спросить:

– Почему вы спокойны?

У моих знакомых явились новые книги: толстые тома Редкина, еще более толстая «История социальных систем» Щеглова, «Капитал», книга Лохвицкого о конституциях, литографированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сергеевича.

Часть молодежи увлекалась железной логикой Маркса, большинство ее жадно читало роман Бурже «Ученик», Сенкевича «Без догмата», повесть Дедлова «Сашенька» и рассказы о «новых людях», – новым в этих людях было резко выраженное устремление к индивидуализму. Эта новенькая тенденция очень нравилась, и юношество стремительно вносило ее в практику жизни, высмеивая и жарко критикуя «обязанности интеллигенции» решать вопросы социального бытия.

Некоторые из новорожденных индивидуалистов находили опору для себя в детерминизме системы Маркса.

Ярославский семинарист А. Ф. Троицкий, – впоследствии врач во Франции, в Орлеане – человек красноречивый, страстный спорщик, говорил:

– Историческая необходимость такая же мистика, как и

учение церкви о предопределении, такая же угнетающая чепуха, как народная вера в судьбу. Материализм – банкротство разума, который не может обнять всего разнообразия явлений жизни и уродливо сводит их к одной, наиболее простой причине. Природе чуждо и враждебно упрощение, закон ее развития – от простого к сложному и сложнейшему. Потребность упрощать – наша детская болезнь, она свидетельствует только о том, что разум пока еще бессилён, не может гармонизировать всю сумму, – весь хаос явлений.

Некоторые с удовольствием опирались на догматику эгоизма А. Смита, она вполне удовлетворяла их, и они становились «материалистами» в обыденном, вульгарном смысле понятия. Большинство их рассуждало, приблизительно, так просто:

– Если существует историческая необходимость, ведущая силою своей человечество по пути прогресса, – значит: дело обойдется и без нас!

И, сунув руки в карманы, они равнодушно посвистывали. Присутствуя на словесных битвах в качестве зрителей, они наблюдали, как вороны, сидя на заборе, наблюдают яростный бой петухов. Порою и все чаще – молодежь грубовато высмеивала «хранителей заветов героической эпохи». Мои симпатии были на стороне именно этих «хранителей», людей чудаковатых, но удивительно чистых. Они казались мне почти святыми в увлечении «народом», объектом их любви, забот и подвигов. В них я видел нечто героикокомическое, но ме-

ня увлекал их романтизм – точное – социальный идеализм. Я видел, что они раскрашивают «народ» слишком нежными красками, я знал, что «народа», о котором они говорят – нет на земле; на ней терпеливо живет близоруко-хитрый, своекорыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая на все, что не касается его интересов; живет тупой жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, работает на земле волосатый, крепкий купец, торопливо налаживая сытую, законно-зверьячую жизнь.

В хаосе мнений противоречивых и все более островраждебных, следя за борьбою чувства с разумом, в этих битвах, из которых истина, казалось мне, должна была стремглав убегать или удаляться изувеченной, – в этом кипении идеи я не находил ничего «по душе» для меня.

Возвращаясь домой после этих бурь, я записывал мысли и афоризмы, наиболее поражавшие меня формой или содержанием, вспоминал жесты и позы ораторов, выражение лиц, блеск глаз и всегда меня несколько смущала и смешила радость, которую испытывал тот или другой из них, когда им удавалось нанести совопроснику хороший словесный удар, – «закатить» ему «под душу». Было странно видеть, что о добре и красоте, о гуманизме и справедливости говорят, прибегая к хитростям эристики, не щадя самолюбия друг друга, часто с явным желанием оскорбить, с грубым раздражением, со злобою.

У меня не было той дисциплины или, вернее, техники мышления, которую дает школа, – я накопил много материала, требовавшего серьезной работы над ним, а для этой работы нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня мучили противоречия между книгами, которым я почти непоколебимо верил, и жизнью, которую я уже достаточно хорошо знал. Я понимал, что умнею, но чувствовал, что именно это чем-то портит меня; – как небрежно груженое судно, я получил сильный крен на один борт. Чтобы не нарушать гармонии хора, я, обладая веселым тенором, старался – как многие – говорить суровым басом, это было тяжело и ставило меня в ложную позицию человека, который, желая отнестись ко всем окружающим любовно и бережно, относится неискренно к себе самому.

Так же, как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь интеллигенции. Множество образованных людей жило трудной, полуголодной, унижительной жизнью, тратило ценные силы на добычу куска хлеба, а жизнь вокруг так ужасающе бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что все эти разнообразно хорошие люди – чужие в своей родной стране, они окружены средою, которая враждебна им, относится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда изгнивала в липком болоте окаянных, «идиотических» мелочей жизни.

Мне было снова не ясно: почему интеллигенция не делает

более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмутила меня своею духовной нищетой, диковинной скукой и особенно равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу.

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать не обычным – добрым, бескорыстным, красивым – до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти искры счастья видеть человека – человеком. Но все-таки я был душевно голоден и одуряющий яд книг не насыщал меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта и, порою, я кричал:

– Шире бери!

– Держи карман шире! – иронически ответил мне Н. Ф. Анненский, у которого всегда было в запасе меткое словечко.

К этому времени относится очень памятная мне беседа с В. Г. Короленко.

Летней ночью я сидел на «Откосе», высоком берегу Волги, откуда хорошо видно пустынные луга Заволжья и сквозь ветви деревьев – реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом со мною, очутился В. Г., я почувствовал его только тогда, когда он толкнул меня плечом, говоря:

– Однако, как вы замечтались! Я хотел шляпу снять с вас, да подумал испугаю!

Он жил далеко, на противоположном конце города. Было

уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел, обнажив курчавую голову и отирая лицо платком.

– Поздно гуляете, – сказал он.

– И вы тоже.

– Да. Следовало сказать: гуляем. Как живете? что делаете?

После нескольких незначительных фраз, он спросил:

– Вы, говорят, занимаетесь в кружке Скворцова? Что это за человек?

П. Н. Скворцов был в то время одним из лучших знатоков теории Маркса, он не читал никаких книг, кроме «Капитала», и гордился этим. Года за два до издания «Критических заметок» П. Б. Струве, он читал в гостиной адвоката Щеглова статью, основные положения которой были те же, что и у Струве, но – хорошо помню – более резки по форме. Эта статья поставила Скворцова в положение еретика, что не помешало ему сгруппировать кружок молодежи; позднее многие из членов этого кружка играли весьма видную роль в строении с.-д. партии. Он был поистине человек «не от мира сего». Аскет, он зиму и лето гулял в летнем легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь и, при этом, еще заботился о «сокращении потребностей» питался, в течение нескольких недель, одним сахаром, съедая его по две осьмых фунта в день, – не больше и не меньше. Этот опыт «рационального питания» вызвал у него общее истощение организма и серьезную болезнь почек.

Небывалого роста, он был весь какой-то серый, а свет-

ло-голубые глаза улыбались улыбкой счастливица, познавшего истину, в полноте недоступную никому, кроме него. Ко всем инаковерующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным. Курил толстые папиросы из дешевого табака, вставляя их в длинный, вершков десяти, бамбуковый мундштук, – он носил его за поясом брюк, точно кинжал.

Я наблюдал Павла Николаевича в табуна студентов, которые коллективно ухаживали за приезжей барышней, – существом редкой красоты. Скворцов, соревнуя юным франтам, тоже кружился около барышни и был величественно нелеп со своим мундштуком, серый в облаке душного серого дыма. Стоя в углу, четко выделяясь на белом фоне изразцовой печи, он методически спокойно, тоном старообрядческого начетчика изрекал тяжелые слова отрицания поэзии, музыки, театра, танцев и непрерывно дымил на красавицу.

– Еще Сократ говорил, что развлечения – вредны, – неопровержимо доказывал он.

Его слушала изящная шатенка, в белой газовой кофточке и, кокетливо покачивая красивой ножкой, натянуто любезно смотрела на мудреца темными, чудесными глазами, – вероятно, тем взглядом, которым красавицы Афин смотрели на курносого Сократа; взгляд этот немо, но красноречиво спрашивал:

– Скоро ты перестанешь, скоро уйдешь?

Он доказал ей, что Короленко – вреднейший идеалист и

метафизик, что вся литература – он ее не читал – «пытается гальванизировать гнилой труп народничества». Доказал и, наконец, сунув мундштук за пояс, торжественно ушел, а барышня, проводив его, в изнеможении – и, конечно, красиво бросилась на диван, возгласив жалобно:

– Господи, это же не человек, а – дурная погода!

В. Г., смеясь, выслушал мой рассказ, помолчал, посмотрел на реку, прищурился и негромко, дружески заговорил:

– Не спешите выбрать верования, я говорю – выбрать, потому что мне кажется теперь их не вырабатывают, а именно – выбирают. Вот, быстро входит в моду материализм, соблазняя своей простотой... Он особенно привлекает тех, кому лень самостоятельно думать. Его охотно принимают франты, которым нравится все новое, хотя бы оно и не отвечало их натурам, вкусам, стремлениям...

Он говорил задумчиво, точно беседуя сам с собою, порою прерывал речь и слушал, как где-то внизу, на берегу, фыркает пароотводная трубка, гудят сигналы на реке.

Говорил он о том, что всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уважения, но следует помнить, что «жизнь слагается из бесчисленных, странно спутанных кривых» и что «крайне трудно заключить ее в квадраты логических построений».

– Трудно привести даже в относительный порядок эти кривые, взаимно пересекающиеся линии человеческих действий и отношений, – сказал он, вздохнув и махая шляпой

в лицо себе.

Мне нравилась простота его речи и мягкий вдумчивый тон. Но – по существу, все, что он говорил о марксизме было уже – в других словах знакомо мне. Когда он прервал речь, я торопливо спросил его: почему он такой ровный, спокойный?

Он надел шляпу, взглянул в лицо мне и, улыбаясь, ответил:

– Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю. А – почему вы спросили об этом?

Тогда я начал рассказывать ему о моих недоумениях и тревогах. Он отодвинулся от меня, наклонился – так ему было удобнее смотреть в лицо мне – и молча внимательно слушал.

Потом тихо сказал:

– В этом не мало верного. Вы наблюдаете хорошо.

И – усмехнулся, положив руку на плечо мне.

– Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас, как о человеке иного характера... веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции...

И, как-то особенно крепко, он стал говорить об интеллигенции: она всегда и везде была оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, таково ее историческое назначение.

– Это – дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ,

Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Перовская и Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, с теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, – а прежде всего, конечно, в тюрьму, – все это – самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее.

Он взволнованно поднялся на ноги и, шагая перед скамьей взад и вперед, продолжал:

– Человечество начало творить свою историю с того дня, когда появился первый интеллигент; миф о Прометее – это рассказ о человеке, который нашел способ добывать огонь и этим сразу отделил людей от зверей. Вы правильно заметили недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от жизни, но еще вопрос: недостатки ли это? Иногда, для того чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. – А главное, что я вам дружески советую, считая себя более опытным, чем вы, – обращайтесь больше внимания на достоинства. Подсчет недостатков увлекают всех нас, – это очень простое и не безвыгодное дело для каждого. Но Вольтер, несмотря на его гениальность, был плохой человек, – однако он сделал великое дело выступил защитником несправедливо осужденного. Я не говорю о том, сколько мрачных предрассудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита безнадежного, казалось, дела, это великий подвиг. Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима – справедливость. Когда она, накопляясь

понемногу маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя – вносите в жизнь справедливость, – вот как я думаю.

Он, видимо, устал, – он говорил очень долго, – сел на скамью, но, взглянув в небо, сказал:

– А ведь уже поздно или – рано, – светло! И, кажется, будет дождь. Пора домой!

Я жил в двух шагах, он – версты за две. Я вызвался проводить его, и мы пошли по улицам сонного города, под небом в темных тучах.

– Что же, пишете вы?

– Нет.

– Почему?

– Времени не имею...

– Жаль и напрасно. Если б вы хотели, время нашлось бы. Я – серьезно думаю – кажется, у вас есть способности... Плохо вы настроены, сударь...

Он стал рассказывать о непоседливом Глебе Успенском, но – вдруг хлынул обильный летний дождь, покрыв город серой сетью. Мы постояли под воротами несколько минут и, видя, что дождь – надолго, разошлись...

И. В. Г. Короленко

Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса, – В. Г. Короленко был в Петербурге.

Не имея работы, я написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский Вестник» Рейнгардта, самую влиятельную газету Поволжья, благодаря постоянному сотрудничеству в ней В. Г.

Рассказы были подписаны М. Г. – или Г-ий, – их быстро напечатали, Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей очень близких мне, от Н. З. Васильева и А. И. Ланина; не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решат мою судьбу. Но Рейнгардт сообщил Короленко мою фамилию, и, когда В. Г. вернулся из Петербурга, мне сказали, что он хочет видеть меня.

Он жил все в том же деревянном доме архитектора Лемке на краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой комнатке окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду.

Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он показался мне еще более прочным, уверенным и кудрявым.

– А мы только что читали ваш рассказ «О чиже» – ну,

вот, вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы – упрямый, все аллегории пишете? Что же, – и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство – не дурное качество...

Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты летним загаром, борода – выцвела. В сарпинковой рубаше синего цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в сапоги, он, казалось, только что пришел откуда-то издалека и сейчас снова уйдет. Его спокойные умные глаза сияли бодро и весело.

Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один напечатан в газете «Кавказ».

– Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишете вы очень своеобразно. Не слажено все у вас, шероховато, но – любопытно. Говорят – вы много ходили пешком? Я тоже, почти все лето, гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге. А вы где были?

Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно воскликнул:

– Ого? Хорошая путина! Вот почему вы так возмужали за эти три года почти! И силищи накопили, должно быть, много?

Я только что прочитал его рассказ «Река играет» – он очень понравился мне и красотой, и содержанием. У меня было чувство благодарности к автору, и я стал восторженно говорить о рассказе.

В лице перевозчика Тюлина Короленко дал – на мой взгляд – изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина «героя на час». Такой человек может самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия, а вслед затем изувечить до полусмерти жену, разбить колом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными улыбками и сотней сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг, без причины, наступить на лицо вам ногою в грязном сапоге. Как Козьма Минин, он способен организовать народное движение, а потом – спиться с круга, «скормить себя вшам».

В. Г. выслушал мою путаную речь, не прерывая, внимательно присматриваясь ко мне – это очень смущало меня. Порою, он, закрыв глаза, пристукивал ладонью по столу, а потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал, усмехаясь добродушно:

– Вы преувеличили. Скажем проще: рассказ удачный. Этого достаточно. Не утаю – мне самому нравится он. Ну, а таков ли мужик вообще, каков Тюлин, – этого я не знаю! А вот вы хорошо говорите, выпукло, ярко, крепким языком, – на-те вам в оплату за вашу похвалу! И чувствуется, что видели вы много, подумали немало. С этим я вас от души поздравляю. От души!

Он протянул мне руку с мозолями на ладони, – должно быть, от весел или топора, – он любил колоть дрова и вообще физический труд.

– Ну, расскажите, что видели?

Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды, они сотнями шагают из города в город, из монастыря в монастырь по запутанным дорогам России.

Глядя в окно, на улицу, Короленко сказал:

– Чаще всего они – бездельники. Неудавшиеся герои, противно влюбленные в себя. Вы заметили, что почти все они – злые люди. Большинство их ищет вовсе не «святую правду», а легкий кусок хлеба и – кому бы на шею сесть?

Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня сразу, открыв предо мною правду, которую я смутно чувствовал.

– Хорошие рассказчики есть среди них, – продолжал Короленко. – Богатого языка люди! Иной говорит, как шелками вышивает.

«Искатели правды», «взыскующие града» – это были любимые герои житийной народнической литературы, а вот Короленко именует их бездельниками, да еще и злыми. Это звучало почти кощунством, но в устах В. Г. продуманно и решенно. И слова его усилили мое ощущение душевной твердости этого человека.

– На Волыни и в Подольи – не были? Там – красиво!

Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским, он живо воскликнул:

– Как же вы думаете о нем? Что это за человек?

– Человек искренно верующий, как веруют иные – не мудрые – сельские попики хорошего, честного сердца. Мне кажется – он испуган своей популярностью, тяжела она ему, не

по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное и, как будто, он действует не по своей воле. Все время спрашивает бога своего: так ли, Господи? и всегда боится: не так.

– Странно слышать это, – задумчиво сказал В. Г.

Потом он сам начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с тонким, цепким юмором, подчеркивая в речах собеседников забавное сочетание невежества и хитрости, ловко отмечая здравый смысл мужика и его осторожное недоверие к чужому человеку.

– Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси. Но если это и не так, то во всяком случае характеры думающих и верующих людей бесконечно и несоединимо разнообразны у нас.

Он веско заговорил о необходимости внимательного изучения духовной жизни деревни.

– Этого не исчерпывает этнография, – нужно подойти как-то иначе, ближе, глубже. Деревня – почва, на которой мы все растем и много чертополоха, много бесполезных сорных трав. Сеять «разумное, доброе, вечное» на этой почве надо так же осторожно, как и энергично. Вот я, летом, беседовал с молодым человеком, весьма неглупым, но он серьезно убеждал меня, что деревенское кулачество – прогрессивное явление, потому что, видите ли, кулаки накапливают капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной. Если такой пропагандист попадет в деревню...

Он засмеялся.

Провожая меня, он снова пожелал мне успеха.

– Так вы думаете – я могу писать? – спросил я.

– Конечно! – воскликнул он несколько удивленно. – Ведь вы уже пишете, печтаетесь, – чего же? Захотите посоветоваться – несите рукописи, потолкуем...

Я вышел от него в бодром настроении человека, который, после жаркого дня и великой усталости, выкупался в прохладной воде лесной речки.

В. Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уважения, но – почему-то – я не ощутил к писателю симпатии, и это огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту пору учителя и наставники уже несколько тяготили меня, мне очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим человеком дружески – просто, не стесняясь ни с чем, о том, что беспощадно волновало меня. А когда я приносил материал моих впечатлений учителям, они кроили и сшивали его сообразно моде и традициям тех политико-философских форм, закройщиками и портными которых они являлись. Я чувствовал, что они совершенно искренно не могут шить и кроить иначе, но я видел, что они портят мой материал.

Недели через две, я принес Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее» и рассказа «Старуха Изергиль», только что написанного мною. В. Г. не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку:

«Приходите вечером поговорить. Вл. Кор.».

Он встретил меня на лестнице с топором в руке.

– Не думайте, что это мое орудие критики, – сказал он, потрясая топором, – нет, это я полки в чулане устраивал. Но – некоторое усекновение главы ожидает вас...

Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись и, как от хорошей, здоровой русской бабы, от него пахло свежее выпеченным хлебом.

– Всю ночь – писал, а после обеда уснул, проснулся – чувствую: надо повозиться!

Он был непохож на человека, которого я видел две недели тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника и учителя; передо мной был хороший человек, дружески внимательный ко всему миру.

– Ну-с, – начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему, – прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе, да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской, – я бы сказал барышне: – недурно, а – все-таки выходите замуж. Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки, это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?

– Еще в Тифлисе...

– То-то! У вас тут сквозит пессимизм. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви – болезнь возраста, это теория наиболее противоречивая практике, чем все иные

теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что!

Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно:

– Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они – оригинальны, это я вам напечатаю. «Старуха» написана лучше, серьезнее, но – все-таки и снова – аллегория. Не доведут они вас до добра. Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!

Он задумался, перелистывая рукопись:

– Странная какая-то вещь! Это – романтизм, а он – давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист. В частности, там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным, – нет, не так?

– Возможно.

– Ага! вот видите! Я же говорю: мы кое-что знаем о вас. Но – это недопустимо, личное – изгоняйте! Разумею – узко личное.

Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза, – я смотрел на него все с большим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

– Слушайте, – можно говорить с вами запросто? Знаю я вас – мало, слышу о вас – много, и кое-что вижу сам. Плохо вы живете. Не туда попали. По-моему вам надо уехать отсюда или жениться на хорошей, не глупой девушке.

– Но я женат.

– Вот это и плохо.

– Я сказал, что не могу говорить на эту тему.

– Ну, извините!

Он начал шутить, потом, вдруг озабоченно спросил:

– Да! Вы слышали, что Ромась арестован! Давно? Вот как.

Я только вчера узнал. Где? В Смоленске. Что он делал там?

На квартире Ромася была арестована типография «народоправцев», организованная им.

– Неугомонный человек, – задумчиво сказал В. Г. – Теперь – снова сошлют его куда-нибудь. Что он – здоров? Здоровнейший мужик был...

Он вздохнул, повел широкими плечами.

– Нет, все это – не то! Этим путем ничего не достигнешь. Астыревское дело – хороший урок, он говорит нам: беритесь за черную, легальную работу, за будничное культурное дело. Самодержавие – больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать, – мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток легальной работы.

Он долго говорил на эту тему, и чувствовалось, что говорит он о своей живой вере.

Пришла Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился и ушел с хорошим сердцем.

Известно, что в провинции живешь как под стеклянным колпаком, – все знают о тебе, знают, о чем ты думал в среду около двух часов и в субботу перед всенощной; знают тайные

намерения твои и очень сердятся, если ты не оправдываешь пророческих догадок и предвидений людей.

Конечно, весь город узнал, что Короленко благосклонен ко мне, и я принужден был выслушать не мало советов такого рода:

– Берегитесь, собьет вас с толку эта компания поумневших.

Подразумевался, популярный в то время, рассказ П. Д. Боборыкина «Поумнел», – о революционере, который взял легальную работу в земстве, после чего он потерял дождевой зонтик и его бросила жена.

– Вы – демократ, вам нечего учиться у генералов, вы – сын народа! внушали мне.

Но я уже давно чувствовал себя пасынком народа; это чувство, от времени, усиливалось и, как я уже говорил, сами народопоклонники казались мне такими же пасынками, как я. Когда я указывал на это – мне кричали:

– Вот видите, вы уже заразились!

Группа студентов Ярославского лицея пригласила меня на пирушку, я что-то читал им, они подливали в мой стакан пива – водку, стараясь делать это незаметно для меня. Я видел их маленькие хитрости, понимал, что они хотят «в дребезги» напоить меня, но не мог понять – зачем это нужно им? Один из них, самовлюбленный и чахоточный, убеждал меня:

– Главное – пошлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю эту дребедень! Пишите – просто! Долой идеи...

Невыносимо надоедали мне все эти советы.

В. Г. Короленко, как всякий заметный человек, подвергался разнообразному воздействию обывателей. Одни, искренно ценя его внимательное отношение к человеку, пытались вовлечь писателя в свои личные, мелкие дразги, другие избрали его объектом для испытания легкой клеветой. Моим знакомым не очень нравились его рассказы.

– Этот ваш Короленко, кажется, даже в Бога верует, – говорили мне.

Почему-то особенно не понравился рассказ «За иконой»: находили, что это – «этнография», не более.

– Так писал еще Павел Якушкин.

Утверждали, что характер героя-сапожника, – взят из «Нравов Растеряевой улицы» Г. Успенского. В общем критики напоминали мне одного воронежского иеремонаха, который, выслушав подробный рассказ о путешествии Миклухи-Маклая, недоуменно и сердито спросил:

– Позвольте! вы сказали: он привез в Россию папуаса. Но – зачем же, именно, папуаса? И – почему – только одного?

–

Рано утром я возвращался с поля, где гулял ночь, и встретил В. Г. у крыльца его квартиры.

– Откуда? – удивленно спросил он. – А я иду гулять, отличное утро! Пройдемтесь?

Он, видимо, тоже не спал ночь: глаза красные и сухие, смотрят утомленно, борода сбита в клочья, одет небрежно.

– Прочитал я в «Волгаре» вашего «Деда Архипа», – это недурная вещь, ее можно бы напечатать в журнале. Почему вы не показали мне этот рассказ, прежде чем печатать его? И почему вы не заходите ко мне?

Я сказал, что меня оттолкнул от него жест, которым он дал мне три рубля взаймы, – он протянул мне деньги молча, стоя спиной ко мне. Меня это обидело. Занимать деньги в долг так трудно, я прибегал к этому только в случаях действительно крайней необходимости.

Он задумался, нахмурился:

– Не помню! Во всяком случае это – было, если вы говорите, что было. Но вы должны извинить мне эту небрежность. Вероятно, я был не в духе, это часто бывает со мною последнее время. Вдруг, задумаюсь, точно в колодец свалился. Ничего не вижу, не слышу, но что-то слушаю и очень напряженно.

Взяв меня под руку, он заглянул в глаза мне.

– Вы забудьте это. Обижаться вам не на что, у меня хорошее чувство к вам, но что вы обиделись, это вообще – не плохо. Мы не очень обидчивы, вот это плохо. Ну, забудем. Вот что я хочу сказать вам: пишете вы много, торопливо, нередко в рассказах ваших видишь недоработанность, неясность. В «Архипе», – там, где описан дождь, – не то стихи, не то ритмическая проза. Это – нехорошо.

Он много и подробно говорил и о других рассказах, было ясно, что он читает все, что я печатаю, с большим внимани-

ем. Разумеется, – это очень тронуло меня.

– Надо помогать друг другу, – сказал он в ответ на мою благодарность. – Нас – не много! И всем нам – трудно!

Понизив голос, он спросил:

– А вы не слышали, – правда, что в деле Натансона, Ромаша и других запуталась некая девица Истомина?

Я знал эту девицу, познакомился с ней, вытащив ее из Волги, куда она бросилась вниз головой с кормы дощанника. Вытащить ее было легко, – она пробовала утопиться на очень мелком месте. Это было – бесцветное, неумное существо, с склонностью к истерии и болезненной любовью ко лжи. Потом, она была, кажется, гувернанткой у Столыпина в Саратове и убита, в числе других, бомбой максималистов при взрыве дачи министра на Аптекарском острове.

Выслушав мой рассказ, В. Г. почти гневно сказал:

– Преступно вовлекать таких детей в рискованное дело. Года четыре тому назад или больше, я встречал эту девушку. Мне она не казалась такой, как вы ее нарисовали. Просто – милая девчурка, смущенная явной неправдой жизни, из нее могла бы выработаться хорошая сельская учительница. Говорят, – она болтала на допросах? Но что же она могла знать? Нет, я не могу оправдать приношение детей в жертву Ваалу политики...

Он пошел быстрее, а у меня болели ноги, я спотыкался и отставал:

– Что это вы?

– Ревматизм.

– Рановато! – О девочке вы говорили совсем неверно, на мой взгляд. А, вообще, вы хорошо рассказываете. Вот что, – попробуйте вы написать что-либо покрупнее, для журнала. Это пора сделать. Напечатают вас в журнале, – и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно!

Не помню, чтоб он еще когда-нибудь говорил со мною так обаятельно, как в это славное утро, после двух дней непрерывного дождя, среди освеженного поля.

Мы долго сидели на краю оврага у еврейского кладбища, любясь изумрудами росы на листьях деревьев и травах, он рассказывал о трагикомической жизни евреев «черты оседлости», а под глазами его все росли тени усталости.

Было уже часов девять утра, когда мы воротились в город. Прощаясь со мною, он напомнил:

– Значит – пробуете написать большой рассказ, решено?

Я пришел домой и тотчас же сел писать «Челкаша», – рассказ одесского босяка, моего соседа по койке в больнице города Николаева, написал в два дня и послал черновик рукописи В. Г.

Через несколько дней он привел к моему патрону обиженных кем-то мужиков и, сердечно, как только он умел делать, поздравил меня:

– Вы написали недурную вещь. Даже, прямо-таки хороший рассказ! Из целого куса сделано...

Я был очень смущен его похвалой.

Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинетике, он оживленно говорил:

– Совсем не плохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувства, – это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист.

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

– Но, в то же время – романтик! И, вот что, – вы сидите здесь не более четверти часа, а курите уже четвертую папиросу...

– Очень волнуюсь...

– Напрасно. Вы и всегда какой-то взволнованный, поэтому, видимо, о вас и говорят, что вы много пьете. Костей у вас много, мяса – нет, курите – не нужно, без удовольствия, – что это с вами?

– Не знаю.

– А – пьете много, – есть слух.

– Врут.

– И какие-то оргии у вас там...

Посмеиваясь, пытливо поглядывая на меня, он рассказал несколько, не плохо сделанных, сплетен обо мне.

Потом, памятно, сказал:

– Когда кто-нибудь немножко высовывается вперед, его – на всякий случай – бьют по голове, – это изречение одного

студента Петровца. – Ну, так пустяки – в сторону, как бы они ни были любезны вам. «Челкаша» напечатаем в «Русском Богатстве» да еще на первом месте, это некоторая отличка и честь. В рукописи у вас есть несколько столкновений с грамматикой, очень невыгодных для нее, я это поправил. Больше ничего не трогал, – хотите взглянуть?

Я отказался, конечно.

Расхаживая по тесной комнате, потирая руки, он сказал:

– Радует меня удача ваша.

Я чувствовал обаятельную искренность этой радости, и любовался человеком, который говорит о литературе, точно о женщине, любимой им спокойной, крепкой любовью, – навсегда. Незабвенно хорошо было мне в этот час, с этим лоцманом, я молча следил за его глазами, – в них сияло так много милой радости о человеке.

Радость о человеке – ее так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле.

Короленко остановился против меня, положил тяжелые руки свои на плечи мне.

– Слушайте, – не уехать ли вам отсюда? Например, в Самару? Там у меня есть знакомый в «Самарской газете» – хотите, я напишу ему, чтоб он дал вам работу? Писать?

– Разве я кому-то мешаю здесь?

– Вам мешают.

Было ясно, что он верит рассказам о моем пьянстве, «оргиях в бане» и вообще о «порочной» жизни моей, – главней-

шим пороком ее была нищета. Настойчивые советы В. Г. мне – уехать из города несколько обижали, но, в то же время, его желание извлечь меня из «недр порока» трогало за сердце.

Взволнованный, я рассказал ему, как живу, он молча выслушал, нахмурился, пожал плечами.

– Но ведь вы сами должны видеть, что все это совершенно невозможно и – чужой вы во всей этой фантастике. Нет, вы послушайте меня! – Вам необходимо уехать, переменить жизнь...

Он уговорил меня сделать это.

–

Потом, когда я писал в «Самарской газете» плохие ежедневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдонимом Иегудиил Хламида, Короленко посылал мне письма, критикуя окаянную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но – всегда дружески.

Особенно хорошо помню я такой случай: мне до отвращения надоел поэт, носивший роковую для него фамилию – Скукин. Он присылал в редакцию стихи свои саженьями, они были неизлечимо малограмотны и чрезвычайно пошлы, их нельзя было печатать. Жажда славы внушила этому человеку оригинальную мысль: он напечатал стихи свои на отдельных листах розовой бумаги и роздал их по гастрономическим магазинам города, приказчики завертывали в эту бумагу пакеты чая, коробки конфет, консервы, колбасы и таким образом обыватель получал в виде премии к покупке своей, по-

ларшина стихов, в них торжественно воспевались городские власти, предводитель дворянства, губернатор, архиерей.

Каждый на свой лад, все эти люди были примечательны и вполне заслуживали внимания, но – архиерей являлся особенно выдающейся фигурой, он насильно окрестил девушку татарку, чем едва не вызвал бунт среди татар целой волости, он устроил совершенно идиотский процесс хлыстов; по этому процессу были осуждены люди ни в чем не повинные, – это я хорошо знал. Наиболее славен был такой подвиг его: во время поездки по епархии, в непогожий день, у него сломалась карета около какой-то маленькой, заброшенной деревеньки, и он должен был зайти в избу крестьянина. Там, на полке, около божницы, он увидел гипсовую голову Зевса. Разумеется, это поразило его. Из расспросов и осмотра других изб, оказалось, что изображение владыки олимпийцев, а также и статуэтка богини Венеры есть и еще у нескольких крестьян, но никто из них не хотел сказать – откуда они взяли идолов? Этого оказалось достаточно, чтоб возбудить уголовное дело о секте самарских язычников, которые поклонялись богам древнего Рима. Идолопоклонников посадили в тюрьму, где они и пробыли до поры, пока следствие не установило, что ими убит и ограблен некий торговец гипсовыми изделиями Солдатской слободы в Вятке; убив торговца, эти люди дружески разделили между собой его товар и – только.

Одним словом – я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и еще многим. Поэтому,

в состоянии запальчивости и раздражения, я обругал поэта, воспевшего ненавистное мне, приставив к его фамилии – Скукин – слово – сын.

В. Г. тотчас прислал мне длинное и внушительное письмо на тему: даже и за дело ругая людей, следует соблюдать чувство меры. Это было хорошее письмо, но его при обыске отобрали у меня жандармы, и оно пропало вместе с другими письмами Короленко.

Кстати – о жандармах.

Ранней весной 97 года меня арестовали в Нижнем и, не очень вежливо, отвезли в Тифлис. Там, в Метехском замке, ротмистр Конисский, впоследствии начальник Петербургского жандармского управления, – допрашивая меня, уныло говорил:

– Какие хорошие письма пишет вам Короленко, а ведь он теперь лучший писатель России!

Станный человек был этот ротмистр: маленький, движения мягкие, осторожные, как будто неуверенные; уродливо большой нос грустно опущен, а бойкие глаза – точно чужие на его лице и зрачки их забавно прячутся куда-то в переносицу.

– Я – земляк Короленко, тоже волынец, потомок того епископа Конисского, который – помните? – произнес знаменитую речь Екатерине Второй: «Оставим солнце» и т. д. Горжусь этим.

Я вежливо осведомился – кто больше возбуждает гор-

дось его – предок или земляк?

– И тот и другой, конечно, и тот и другой!

Он загнал зрачки в переносицу, но тотчас громко шмыгнул носом, и зрачки выскочили на свое место. Будучи болен и, потому, сердит, – я заметил, что плохо понимаю гордость человека, которому чрезмерно любезное внимание жандармов так много мешало и мешает жить, – Конисский благочестиво ответил:

– Каждый из нас – творит волю пославшего, каждый и все! Пойдемте далее. Итак, – вы утверждаете... А между тем, нам известно...

Мы сидели в маленькой комнатке под входными воротами замка. Окно ее помещалось очень высоко, под потолком, через него, на стол загруженный бумагами, падал луч жаркого солнца и, между прочим, – на позор мой, освещал клочок бумаги, на котором мною было четко написано:

– Не упрекайте лососину за то, что гложет лось осину.

Я смотрел на эту проклятую бумажку и думал:

– Что я отвечу ротмистру, если он спросит меня о смысле этого изречения?

–

Шесть лет, – с 95 по 901 год, – я не встречал Владимира Галактионовича, лишь изредка обмениваясь письмами с ним.

В 901 году я впервые приехал в Петербург, город прямых линий и неопределенных людей. Я был «в моде», меня одоле-

вала «слава», основательно мешая мне жить. Популярность моя проникала глубоко: помню, шел я ночью по Аничкову мосту, меня обогнали двое людей, видимо парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мое, испуганно вполголоса сказал товарищу:

– Гляди – Горький!

Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом:

– Эх, дьявол, – в резиновых калошах ходит!

В числе множества удовольствий я снялся у фотографа с группой членов редакции журнала «Начало», – среди них был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович.

Разумеется, мне было крайне приятно видеть благосклонные улыбки женщин, почти обожающие взгляды девиц, – и, вероятно, как все молодые люди, только что ошарашенные славой, – я напоминал индейского петуха.

Но, бывало, ночами, наедине с собою, вдруг почувствуешь себя в положении непойманного уголовного преступника; его окружают шпионы, следователи, прокуроры, все они ведут себя так, как будто считают преступление несчастием, печальной «ошибкой молодости», и – только сознайся! – они великодушно простят тебя. Но – в глубине души каждому из них непобедимо хочется уличить преступника, крикнуть в лицо ему торжествующе:

– Ага-а!

Нередко приходилось стоять в положении ученика, вы-

званного на публичный экзамен по всем отраслям знания.

– Како веруеши? – пытали меня начетчики сект и жрецы храмов.

Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнаруживая терпение, силе которого сам удивлялся; но после пытки словами у меня возникало желание проткнуть Исаакиевский собор Адмиралтейской иглою или совершить что-либо иное, не менее скандальное.

Где-то позади добродушия, почти всегда несколько наигранного, россияне скрывают нечто, напоминающее хамова-тость. Это качество – а, может быть, это метод исследования? – выражается очень разнообразно, главным же образом – в стремлении посетить душу ближнего, как ярмарочный балаган, взглянуть, какие в ней показываются фокусы, пошвырять, натоптать, насорить пустяков в чужой душе, а иногда – опрокинуть что-нибудь и, по примеру Фомы, тыкать в раны пальцами, очевидно, думая, что скептицизм апостола равноценен любопытству обезьян.

–

В. Г. Короленко и в каменном Петербурге нашел для себя старенький деревянный дом, провинциально уютный, с крашенным полом в комнатах, с ласковым запахом старости.

В. Г. поседел за эти годы, кольца седых волос на висках были почти белые, под глазами легли морщины, взгляд – рассеянный, усталый. Я тотчас почувствовал, что его спокойствие, раньше так приятное мне, заменилось нервозностью

человека, который живет в крайнем напряжении всех сил души. Видимо – не дешево стоило ему Мультианское дело и все, что он, как медведь, ворочал в эти трудные годы.

– Бессонница у меня, отчаянно надоедает. А вы, не считаясь с туберкулезом, все так же много курите? Как у вас легкие? Собираюсь в Черноморье, – едем вместе?

Сел за стол, против меня и, выглядывая из-за самовара, заговорил о моей работе.

– Такие вещи, как «Варенька Олесова», удаются вам лучше, чем «Фома Гордеев». Этот роман – трудно читать, материала в нем много, порядка, стройности – нет.

Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки и спросил:

– Что же вы – стали марксистом?

Когда я сказал, что – близок к этому, он невесело улыбнулся, заметив:

– Не ясно мне это. Социализм без идеализма для меня – непонятен. И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики – мы не обойдемся.

И, прихлебывая чай, спросил:

– Ну, а как вам нравится Петербург?

– Город – интереснее людей.

– Люди здесь...

Он приподнял брови и крепко потер пальцами усталые глаза.

– Люди здесь более европейцы, чем москвичи и наши волжане. Говорят Москва своеобразнее, – не знаю. На мой взгляд – ее своеобразие – какой-то неуклюжий, туповатый консерватизм. Там славянофилы, Катков и прочее в этом духе. Здесь – декабристы, Петрашевцы, Чернышевский...

– Победоносцев, – вставил я.

– Марксисты, – добавил В. Г., усмехаясь. – И всякое иное заострение прогрессивной, т.-е. революционной, мысли. А Победоносцев-то талантлив, как хотите. Вы читали его «Московский сборник»? Заметьте – московский все-таки!

Он сразу, нервно оживился и стал юмористически рассказывать о борьбе литературных кружков, о споре народников с марксистами.

Я уже кое-что знал об этом, – на другой же день по приезде в Петербург, я был вовлечен в «историю», о которой я даже теперь вспоминаю с неприятным чувством; я пришел к В. Г. для того, чтобы, между прочим, поговорить с ним по этому поводу.

Суть дела такова: редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе организовал литературный вечер в честь и память Н. Г. Чернышевского, пригласив участвовать В. Г. Короленко, Н. К. Михайловского, П. Ф. Мельшина, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и еще несколько марксистов и народников. Литераторы дали свое согласие, полиция – разрешение.

На другой день, по приезде моем в Петербург, ко мне пришли два щеголя студента с кокетливой барышней и заяви-

ли, что они не могут допустить участие Поссе в чествовании Чернышевского, ибо «Поссе – человек, неприемлемый для учащейся молодежи, он эксплуатирует издателей журнала «Жизнь». Я уже более года знал Поссе и хотя считал его человеком оригинальным, талантливым, однако – не в такой степени, чтобы он мог и умел эксплуатировать издателей. Знал я, что его отношения с ними были товарищеские, он работал, как ломовая лошадь, и, получая ничтожное вознаграждение, жил с большою семьей впроголодь. Когда я сообщил все это юношам, они заговорили о неопределенной политической позиции Поссе между народниками и марксистами, но – он сам понимал эту неопределенность и статьи свои подписывал псевдонимом Вильде. Блюстители нравственности и правоверия рассердились на меня и ушли, заявив, что они пойдут ко всем участникам вечера и уговорят их отказаться от выступлений.

В дальнейшем оказалось, что «инцидент в его сущности» нужно рассматривать не как выпад лично против Поссе, а «как один из актов борьбы двух направлений политической мысли», – молодые марксисты находят, что представителям их школы неуместно выступать пред публикой с представителями народничества «изношенного, издыхающего». Вся эта премудрость была изложена в письме, обширном, как доклад, и написанном таким языком, что, читая письмо, я почувствовал себя иностранцем. Вслед за письмом от людей, мне неведомых, я получил записку П. Б. Струве, – он из-

вещал меня, что отказывается выступить на вечере, а через несколько часов, другой запиской сообщил, что берет свой отказ назад. Но – на другой день отказался М. И. Туган-Барановский, а Струве прислал третью записку, на сей раз с решительным отказом и, как в первых двух, без мотивации оного.

В. Г., посмеиваясь, выслушал мой рассказ об этой канители и, юмористически грустно, сказал:

– Вот, – пригласят читать, а выйдешь на эстраду – схватят, снимут с тебя штаны и – выпорют.

Расхаживая по комнате, заложив руки за спину, он продолжал вдумчиво и негромко:

– Тяжелое время! Растет что-то странное, разлагающее людей. Настроение молодежи я плохо понимаю, – мне кажется, что среди нее возрождается нигилизм и явились какие-то карьеристы-социалисты. Губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его, – не видно!

Впервые я наблюдал Короленко настроенным так озабоченно и таким усталым. Было очень грустно.

К нему пришли какие-то земцы из провинции, и я ушел. Через два-три дня он уехал куда-то отдыхать, и я не помню, встречался ли с ним после этого свидания.

III. О вреде философии

... Я давно уж почувствовал необходимость понять – как возник мир, в котором я живу, и каким образом я постигаю его. Это естественное и – в сущности – очень скромное желание, незаметно выросло у меня в неодолимую потребность и, со всей энергией юности, я стал настойчиво обременять знакомых «детскими» вопросами. Одни искренно не понимали меня, предлагая книги Ляйэля и Леббока; другие, тяжело высмеивая, находили, что я занимаюсь «ерундой»; кто-то дал «Историю философии» Льюиса; эта книга показалась мне скучной, – я не стал читать ее.

Среди знакомых моих появился странного вида студент в изношенной шинели, в короткой синей рубаше, которую ему приходилось часто одергивать сзади, дабы скрыть некоторый пробел в нижней части костюма. Близорукий, в очках, с маленькой, раздвоенной бородкой, он носил длинные волосы «нигилиста»; удивительно густые, рыжеватого цвета, они опускались до плеч его прямыми, жесткими прядями. В лице этого человека было что-то общее с иконой «Нерукотворенного Спаса». Двигался он медленно, неохотно, как бы против воли; на вопросы, обращенные к нему, отвечал кратко и не то угрюмо, не то – насмешливо. Я заметил, что он, как Сократ, говорит вопросами. К нему относились непри-

язненно.

Я познакомился с ним, и, хотя он был старше меня года на четыре, мы быстро, дружески сошлись. Звали его Николай Захарович Васильев, по специальности он был химик.

Прекрасный человек, умник, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел странности: ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин – весьма вкусное лакомство, а главное – полезен, укрощает буйство «инстинкта рода». Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты: принимал бромистый калий и вслед за тем курил опиум, отчего едва не умер в судорогах; принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор – суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал:

– Лошадь от этого издохла бы. Даже, пожалуй, пара лошадей. Вам эта штука тоже не пройдет даром, будьте уверены.

Этими опытами Николай испортил себе зубы, все они у него позеленели и выкрошились. Он кончил все-таки тем, что – намеренно или нечаянно – отравился в 901 году в Киеве, будучи ассистентом профессора Коновалова и работая с индигоидом.

В 89 – 90 годах это был крепкий, здоровый человек, чудаковато-забавный и веселый наедине со мною, несколько ехидный в компании. Помню – мы взяли в земской управе какую-то счетную работу, – она давала нам рубль в день, –

и вот Николай, согнувшись над столом, поет нарочито-гнусным тенорком на голос «Смотрите здесь – смотрите там».

Сто двадцать три
И двадцать два
Сто сорок пять
Сто сорок пять!

Поет десять минут, полчаса, еще поет, – теноришко его звучит все более гнусно. Наконец – прошу:

– Перестань.

Он смотрит на стенные часы и – говорит:

– У тебя очень хорошая нервная система. Не всякий выдержит спокойно такую пытку в течение сорока семи минут. Я одному знакомому медику «Алилуйю» пел, так он на тринадцатой минуте чугунной пепельницей бросил в меня. А готовился он на психиатра...

Николай постоянно читал немецкие философские книги и собирался писать сочинение на тему: «Гегель и Сведенборг». Гегелева феноменология духа воспринималась им как нечто юмористическое; лежа на диване, который мы называли Кавказским хребтом, он хлопал книгой по животу своему, дрыгал ногами и хохотал почти до слез.

Когда я спросил его: над чем он смеется – Николай, сожалея, ответил:

– Не могу, брат, не сумею объяснить тебе это, уж очень суемудрая штука. Ты – не поймешь. Но, знаешь ли, – забав-

нейшая история.

После настойчивых просьб моих он долго, с увлечением говорил мне о «мистике разумного». Я, действительно, ничего не понял и был весьма огорчен этим.

О своих занятиях философией он говорил:

– Это, брат, так же интересно, как семечки подсолнуха грызть, и приблизительно – так же полезно.

Когда он приехал из Москвы на каникулы, я, конечно, обратился к нему с «детскими» вопросами и этим очень обрадовал его.

– Ага, требуется философия, превосходно. Это я люблю. Сия духовная пища будет дана тебе в потребном количестве.

Он предложил прочесть для меня несколько лекций.

– Это будет легче и, надеюсь, приятнее для тебя, чем сосать Льюиса.

Через несколько дней, поздно вечером, я сидел в полуразрушенной беседке заглохшего сада; яблони и вишни в нем густо обросли лишаями, кусты малины, смородины, крыжовника, густо разрастись, закрыв дорожки тысячью цепких веток; по дорожкам бродил в сером халате, покашливая и ворча, отец Николая, чиновник духовной консистории, страдавший старческим слабоумием.

Со всех сторон возвышались стены каких-то сараев, сад помещался как бы на дне квадратной черной ямы, и чем ближе подходила ночь, тем глубже становилась яма. Было душно, со двора доносился тяжкий запах помоев, хорошо нагр-

тых за день жарким солнцем июня.

– Будем философствовать, – говорил Николай, причмокивая и смакуя слова. Он сидел в углу беседки, облокотясь на стол, врытый в землю. Огонек папиросы, вспыхивая, освещал его странное лицо, отражался в стеклах очков. У Николая была лихорадка, он зябко кутался в старенькое пальто, шаркал ногами по земляному полу беседки, стол сердито скрипел.

Я напряженно слушал пониженный голос товарища. Он интересно и понятно изложил мне систему Демокрита, рассказал о теории атомов, как она принята наукой, потом вдруг сказал – «подожди» – и долго молчал, куря папиросу за папиросой.

Уже ночь наступила, ночь без луны и звезд; небо над садом было черно, духота усилилась, в соседнем доме психиатра Кащенко трогательно пела виолончель, с чердака, из открытого окна доносился старческий кашель.

– Вот что, брат, – заговорил Николай, усиленно куря и еще более понизив голос, – тебе следует отнестись ко всем этим штукам с великой осторожностью! Некто, – забыл кто именно, – весьма умно сказал, что убеждения просвещенных людей так же консервативны, как и навыки мысли неграмотной, суеверной массы народа. Это – еретическая мысль, но в ней скрыта печальная правда. И выражена она еще мягко, на мой взгляд. Ты прими эту мысль и хорошенько помни ее.

Я хорошо помню эти слова, вероятно, самого лучшего и

дружески искреннего совета из всех советов, когда-либо данных мне. Слова эти как-то пошатнули меня, отозвались в душе гулко и еще более напрягли мое внимание.

– Ты – человек, каким я желаю тебе остаться до конца твоих дней. Помни то, что уж чувствуешь: свобода мысли – единственная и самая ценная свобода, доступная человеку. Ею обладает только тот, кто, ничего не принимая на веру, все исследует, кто хорошо понял непрерывность развития жизни, ее неустанное движение, бесконечную смену явлений действительности.

Он встал, обошел вокруг стола и сел рядом со мною.

– Все, что я сказал тебе – вполне уместится в трех словах: живи своим умом! Вот. Я не хочу вбивать мои мнения в твой мозг; я вообще никого и ничему не могу учить, кроме математики, впрочем. Я особенно не хочу именно тебя учить, понимаешь. Я – рассказываю. А делать кого-то другого похожим на меня, это, брат, по-моему, свинство. Я особенно не хочу, чтобы ты думал похоже на меня, это совершенно не годится тебе, потому что, брат, я думаю плохо.

Он бросил папиросу на землю, растоптав ее двумя слишком сильными ударами ноги. Но тотчас закурил другую папиросу и, нагревая на огне спички ноготь большого пальца, продолжал, усмехаясь невесело:

– Вот, например, я думаю, что человечество до конца дней своих будет описывать факты и создавать из этих описаний более или менее неудачные догадки о существовании истины или

же, не считаясь с фактами – творить фантазии. В стороне от этого – под, над этим – Бог. Но – Бог – это для меня неприемлемо. Может быть, он и существует, но – я его не хочу. Видишь как нехорошо я думаю. Да, брат... Есть люди, которые считают идеализм и материализм совершенно равноценными заблуждениями разума. Они – в положении чертей, которым надоел грязный ад, но не хочется и скучной гармонии рая.

Он вздохнул, прислушался к пению виолончели.

– Умные люди говорят, что мы знаем только то, что думаем по поводу видимого нами, но не знаем – то ли, так ли мы думаем, как надо. А ты – и в это не верь! Ищи сам...

Я был глубоко взволнован его речью, – я понял в ней столько, сколько надо было понять для того, чтоб почувствовать боль души Николая. Взяв друг друга за руки, мы с минуту стояли молча. Хорошая минута! Вероятно одна из лучших минут счастья, испытанного мною в жизни. Эта жизнь, достаточно разнообразная, могла бы дать мне несколько больше таких минут. Впрочем – человек жаден. Это одно из его достоинств, но – по недоразумению, а, вернее, по лицемерию – оно признается пороком.

Мы вышли на улицу и остановились у ворот, слушая отдаленный гром. По черным облакам скользили отблески молнии, а на востоке облака уже горели и плавились в огне утренней зари.

– Спасибо, Николай!

– Пустяки.

Я пошел.

– Слушай-ка, – весело и четко прозвучал голос Николая, – в Москве живет нечаевец Орлов, чудесный старикан. Так он говорит: – Истина – это только мышление о ней. – Ну, иди. До завтра.

Пройдя несколько шагов, я оглянулся. Николай стоял, прислонясь к столбу фонаря, и смотрел на небо, на восток. Синие струйки дыма поднимались над копной его волос. Я ушел от него в прекрасном лирическом настроении, – вот передо мною открываются «врата великих тайн»!

Но на другой день Николай развернул передо мною жуткую картину мира, как представлял его Эмпедокл. Этот странный мир, должно быть, особенно привлекал симпатии лектора: Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и чаще, чем всегда, вкусно чмокал.

Так же, как накануне, был поздний вечер, а днем выпал проливной дождь. В саду было сыро, вздыхал ветер, бродили тени, по небу неслись черные клочья туч, открывая голубые пропасти и звезды, бегущие стремительно.

Я видел нечто неопишимо страшное: внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой на-бок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человечьи ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминая медведя, шевелятся корни деревьев, точно огромные пауки, а ветки и

листья живут отдельно от них; летают разноцветные крылья, и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков, а круглые глаза их испуганно прыгают над ними; вот бежит окрыленная нога верблюда, а вслед за нею стремительно несется рогатая голова совы, – вся видимая мною внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей, кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно.

В этом хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел, величественно движутся, противоборствуя друг другу, Ненависть и Любовь, неразличимо подобные одна другой, от них изливается призрачное, голубоватое сияние, напоминая о зимнем небе в солнечный день, и освещает все движущееся мертвенно-однотонным светом.

Я не слушал Николая, поглощенный созерцанием видения и как бы тоже медленно вращаясь в этом мире, изломанном на куски, как будто взорванном изнутри и падающем по спирали в бездонную пропасть голубого, холодного сияния. Я был так подавлен видимым, что, в оцепенении, не мог сразу ответить на вопросы Николая:

– Ты уснул? Не слушаешь?

– Больше не могу.

– Почему?

Я объяснил.

– У тебя, брат, слишком разнузданное воображение, – сказал он, закуривая папиросу. – Это не очень похвально. Ну,

что ж, пойдём гулять?

Пошли на «Откос», по улице, вдоль которой блестели лужи, то являясь, то исчезая. Тени торопливо ползли по крышам домов и земле.

Николай говорил, что тряпку на бумажных фабриках нужно белить хлористым натром, – это лучше и дешевле. Потом рассказывал о работе какого-то профессора, который ищет, как удлинить древесное волокно.

А предо мною все плавали оторванные руки, печальные чьи-то глаза.

Через день Николая вызвали телеграммой в Москву, в университет, и он уехал, посоветовав мне не заниматься философией до его возвращения.

Я остался с тревожным хаосом в голове, с возмущенной душой, а через несколько дней почувствовал, что мозг мой плавится и кипит, рождая странные мысли, фантастические видения и картины. Чувство тоски, высасывающей жизнь, охватило меня, и я стал бояться безумия. Но я был храбр, решил дойти до конца страха, – и, вероятно, именно это спасло меня.

Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на «Откосе», глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд и – вдруг начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое, черное пятно, как отверстие бездонного колодца. А из него высунется огненный палец и погрозит мне.

Или – по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за собою непроходимую каменную тьму и тишину. Казалось возможным, что все звезды млечного пути сольются в огненную реку, и вот – сейчас она низринется на землю.

Вдруг, на месте Волги, разевала серую пасть бездонная щель, и в нее отовсюду сбегались, играя, потоки детей, катились бесконечные вереницы солдат с оркестрами музыки впереди, крестным ходом, текли толпы народа со множеством священников, хоругвей, икон, ехали неисчислимые обозы, шли миллионы мужиков, с палками в руках, котомками за спиной, – все на одно лицо; туда же, в эту щель, всасывались облака, втягивалось небо, колесом катилась изломанная луна и вихрем сыпались звезды, точно медные снежинки.

Я ожидал, что широкая плоскость лугов начнет свертываться в свиток, точно лист бумаги, этот свиток покатится через реку, всосет воду, затем высокий берег реки тоже свернется, как береста или кусок кожи на огне, и, когда все видимое превратится в черный свиток, – чья-то снежно-белая рука возьмет его и унесет.

Из горы, на которой я сидел, могли выйти большие черные люди с медными головами, они тесной толпой идут по воздуху и наполняют мир оглушающим звоном, – от него падают, как срезанные невидимой пилой, деревья, колокольни, разрушаются дома; и вот – все на земле превратилось в столб

зеленовато-горящей пыли, осталась только круглая, гладкая пустыня и, посреди – я, один на четыре вечности. Именно – на четыре, я видел эти вечности, – огромные, темно-серые круги тумана или дыма, они медленно вращаются в непроходимой тьме, почти не отличаясь от нее своим призрачным цветом.

Видел я Бога, – это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах, – благообразный, седобородый, с равнодушными глазами, одиноко сидя на большом, тяжелом престоле, он шьет золотую иглою и голубой ниткой чудовищно длинную белую рубаху, она опускается до земли прозрачным облаком. Вокруг Бога – пустота, и в нее невозможно смотреть без ужаса, потому что она непрерывно и безгранично ширится, углубляется.

За рекою, на темной плоскости вырастает, почти до небес, человечесье ухо, – обыкновенное ухо, с толстыми волосами в раковине, – вырастает и слушает все, что думаю я.

Длинным, двуручным мечом средневекового палача, гибким как бич, я убивал бесчисленное множество людей, они шли ко мне справа и слева, мужчины и женщины, все нагие; шли молча, склонив головы, покорно вытягивая шеи. Сзади меня стояло неведомое существо, и это его волей я убивал, а оно дышало в мозг мне холодными иглами.

Ко мне подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног, из ее груди исходили золотые лучи; вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспых-

нужно точно клок ваты, я исчезал.

Ночной сторож Ибрагим Губайдуллин, несколько раз поднимал меня на верхней аллее «Откоса» и отводил домой, ласково уговаривая:

– Засэм гуляйш больной? Больной – лежать дома нада...

Иногда, измученный бредовыми видениями, я бежал к реке и купался, это несколько помогало мне.

А дома меня ожидали две мыши, прирученные мною. Они жили за деревянной обшивкой стены; в ней, на уровне стола, они прогрызли щель и вылезали прямо на стол, когда я начинал шуметь тарелками ужина, оставленного для меня квартирной хозяйкой.

И вот я видел: забавные животные превращались в маленьких, серых чертенят и, сидя на коробке с табаком, болтали мохнатыми ножками, важно разглядывая меня, в то время, как скучный голос, – неведомо чей – шептал, напоминая тихий шум дождя:

– Черти делятся на различные категории, но общая цель всех – помогать людям в поисках несчастий.

– Это – ложь! – кричал я, озлобляясь. – Никто не ищет несчастий...

Тогда являлся Никто. Я слышал, как он гремит щеколдой калитки, отворяет дверь крыльца, прихожей и – вот он у меня в комнате. Он – круглый, как мыльный пузырь, без рук; вместо лица у него – циферблат часов, а стрелки из моркови; к ней у меня с детства идиосинкразия. Я знаю, что это –

муж той женщины, которую я люблю, он только переоделся, чтоб я не узнал его. Вот он превращается в реального человека, – толстенького, с русой бородой, мягким взглядом добрых глаз; улыбаясь, он говорит мне все то злое и нелестное, что я думаю о его жене и что никому, кроме меня, не может быть известно.

– Вон! – кричу я на него.

Тогда за моей спиной раздается стук в стену, – это стучит квартирная хозяйка, милая и умная Фелицата Тихомирова. Ее стук возвращает меня в мир действительности, я обливаю голову холодной водой и через окно, чтоб не хлопнуть дверьми, не беспокоить спящих, вылезаю в сад, – там сижу до утра.

Утром, за чаем хозяйка говорит:

– А вы опять кричали ночью...

Мне невыразимо стыдно, я презираю себя.

В ту пору я работал как писмоводитель у присяжного поверенного А. И. Ланина, прекрасного человека, которому я очень многим обязан. Однажды, когда я пришел к нему, он встретил меня, бешено размахивая какими-то бумагами и крича:

– Вы – с ума сошли! Что это вы, батенька, написали в апелляционной жалобе? Извольте немедля переписать, – сегодня истекает срок подачи. Удивительно! – Если это – шутка, то – плохая, я вам скажу!

Я взял из его рук жалобу и прочитал в тексте ее четко написанное четверостишие:

*– Ночь бесконечно длится.
Муке моей нет меры!
Если б умел я молиться!
Если бы знал счастье веры!*

Для меня эти стихи были такой же неожиданностью, как и для патрона; я смотрел на них и почти не верил, что это написано мною.

Вечером, за работой, А. И. подошел ко мне, говоря:

– Вы извините, я накричал на вас! Но, знаете, – такой случай... Что с вами? Последнее время на вас лица нет, и похудели вы ужасно.

– Бессонница, – сказал я.

– Надо полечиться.

Да, надо было что-то делать. От этих видений и ночных бесед с разными лицами, которые, неизвестно как, появлялись предо мною и неуловимо исчезали, едва только сознание действительности возвращалось ко мне, от этой слишком интересной жизни на границе безумия необходимо было избавиться. Я достиг уже такого состояния, что даже и днем, при свете солнца напряженно ожидал чудесных событий.

Наверное я не очень удивился бы, если б любой дом города вдруг перепрыгнул через меня. Ничто, на мой взгляд, не мешало лошади ломового извозчика, встав на задние ноги, провозгласить глубоким басом:

– Анафема!

Или вот на скамье у бульвара, у стены Кремля, сидит женщина в соломенной шляпе и желтых перчатках. Если я подойду к ней и скажу:

– Бога нет!

Она удивленно, обиженно воскликнет:

– Как? А – я?

Тотчас превратится в крылатое существо и улетит, – вслед за тем вся земля немедленно порастет толстыми деревьями без листьев, с их ветвей и стволов будет капать жирная, синяя слизь, а меня, как уголовного преступника, приговорят быть двадцать три года жабой и чтоб я, все время, день и ночь, звонил в большой, гулкий колокол Вознесенской церкви.

Так как мне очень, нестерпимо хочется сказать даме, что Бога нет, но я хорошо вижу, каковы будут последствия моей искренности, – я, как можно скорее, стороной, почти бегом – ухожу.

Все – возможно. И возможно, что ничего нет, поэтому мне нужно дотрагиваться рукой до заборов, стен, деревьев. Это несколько успокаивает. Особенно – если долго бить кулаком по твердому, – убеждаешься, что оно существует.

Земля – очень коварна: идешь по ней так же уверенно, как все люди, но вдруг ее плотность исчезает под ногами, земля становится такой же проницаемой как воздух, – оставаясь темной, – и душа стремглав падает в эту тьму бесконечно

долгое время, – оно длится секунды.

Небо – тоже ненадежно; оно может в любой момент изменить форму купола на форму пирамиды вершиной вниз, острие вершины упрется в череп мой, и я должен буду неподвижно стоять на одной точке, до той поры, пока железные звезды, которыми скреплено небо, не перержавеют; тогда оно рассыплется рыжей пылью и похоронит меня.

Все возможно. Только жить невозможно в мире таких возможностей.

Душа моя сильно болела. И если б, два года тому назад, я не убедился личным опытом, как унижительна глупость самоубийства, – наверное, применил бы этот способ лечения больной души.

...Маленький, черный, горбатый психиатр, человек одинокий, умница и скептик, часа два расспрашивал, как я живу, потом, хлопнув меня по колену, странно белой рукой, сказал:

– Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю дребедень, которой вы живете. По комплекции вашей, вы человек здоровый, и – стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин – как? Ну, это тоже не годится. Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая по-жаднее к любовной игре, – это будет полезно.

Он дал мне еще несколько советов, одинаково неприятных и неприемлемых для меня, написал два рецепта, затем

сказал несколько фраз, очень памятных мне.

– Я кое-что слышал о вас, и – прошу извинить, если это не понравится вам – вы кажетесь мне человеком, так сказать, первобытным. А у первобытных людей фантазия всегда преобладает над логическим мышлением. Все, что вы читали, видели, – возбуждало у вас фантазию, а она – совершенно непримирима с действительностью, которая хотя тоже фантастична, но – на свой лад. Затем: один древний умник сказал: «Кто охотно противоречит, тот не способен научиться ничему дельному». Сказано – хорошо. Сначала изучить, потом – противоречить, – так и надо.

Провожая меня, он повторил с улыбкой веселого чорта:

– А – бабеночка очень полезна для вас.

Через несколько дней я ушел из Нижнего в Симбирскую колонию толстовцев и, придя туда, узнал – от крестьян – трагикомическую историю ее разрушения.

Тонет героизм отдельных личностей

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Итак – я еду учиться в Казанский университет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю «исключительными способностями к науке».

– Вы созданы природой для служения науке, – говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

Я тогда еще не знал, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое-какие» экзамены – он так и говорил: «кое-какие» – в университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду «ученым». Все – очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем.

Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.

Провожая меня, бабушка советовала:

– Ты – не сердись на людей, ты сердишься все, строг и заносчив стал. Это – от деда у тебя, а что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты – одно помни: не бог людей судит, это – чорту лестно. Прощай, ну...

И отирая с бурых, дряблых щек скупые слезы, она сказала:

– Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я – помру...

За последнее время я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут, вдруг, с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне.

Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукой, а другой, – концом старенькой шали отирает лицо свое, темные глаза, полные сияния неистребимой любви к людям.

И вот я в полутатарском городе, в тесной квартирке одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы; одна из его стен выходила на пустырь пожарища; на пустыре густо разрослись сорные травы; в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины, возвышались развалины кирпичного здания; под развалинами – обширный подвал, в нем жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов.

Евреиновы – мать и два сына – жили на нищенскую пен-

сию. В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из маленьких кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трех здоровых парней, не считая себя самое?

Была она молчалива; в ее серых глазах застыло безнадежное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои; – тащит лошадка воз в гору, и знает – не вывезу, – а все-таки везет.

Дня через три после моего приезда, утром, когда дети еще спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня:

– Вы зачем приехали?

– Учиться, в университет.

Ее брови поползли вверх вместе с желтой кожей лба. Она порезала ножом палец себе, высасывая кровь опустилась на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:

– О, черт...

Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:

– Вы хорошо умеете чистить картофель.

Ну, еще бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:

– Вы думаете – этого достаточно, чтоб поступить в университет?

В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнесся к ее вопросу серьезно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.

Она вздохнула:

– Ах, Николай, Николай...

А он в эту минуту вошел в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, веселый.

– Мама, хорошо бы пельмени сделать.

– Да, хорошо, – согласилась мать.

Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо – плохо, да и мало его.

Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил ее поведение словами:

– Не в духе.

Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще – нервнее мужчин, таково свойство их природы, – это неоспоримо доказано одним солидным ученым, кажется – швейцарцем. Джон-Стюарт Милль, англичанин, или кто-то другой, тоже говорил кое-что по этому поводу.

Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фуко, Лярош-Фуко и Лярош-Жаклен сли-

вались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову: Лавуазье – Дюмурье, или – наоборот? Славный юноша искренно желал «сделать меня человеком», он уверенно обещал мне это, но – у него не было времени и всех остальных условий для того, чтобы серьезно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство; еще менее чувствовал это его брат, тяжелый, молчаливый гимназист. А мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принужденной ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить – неизвестно за что – приبلудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне, – я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду – отсиживался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет – фантазия, и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашел способ выращивать хлебные зерна объемом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать немало благодетелей для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не мне только одному.

Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные

дни жизни, а так как дней этих было много, – я все более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, – и чем труднее слагались условия жизни, тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создаст его сопротивление окружающей среде.

Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать – двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов, – я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли, – каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголенно-жадные, люди грубых инстинктов, – мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Все, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брет-Гарт и огромное количество «бульварных» романов еще более возбуждали мои симпатии к этой среде.

Профессиональный вор Башкин, бывший ученик Учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:

– Что ты, как девушка, ежишься, али честь потерять бо-язно? Девке честь – все ее достояние, а тебе – только хомут. Честен бык, так он сеном сыт.

Рыженький, бритый точно актер, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котенка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо»:

– В этой книге есть и цель и сердце, – говорил он.

Любил женщин и рассказывал о них вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту. – Баба, баба! – выпевал он, и желтая кожа его лица разгоралась румянцем, темные глаза сияли восхищением. – Ради бабы я – на все пойду. Для нее, как для чорта – нет греха! Живи влюблен, лучше этого ничего не придумано.

Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви, – его песни распевались во всех городах Волги, и – между прочим – ему принадлежит широко распространенная песня:

*Не красива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это...*

Хорошо относился ко мне темный человек Трусов, благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», но занимался сбытом краденого.

– Ты, Максим, к воровским шалостям не приучайся! – говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищулив хитрые и дерзкие глаза. – Я вижу: у тебя иной путь, ты человек духовный.

– Что значит – духовный?

– А – в котором зависти нет ни к чему, только любопытство...

Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом, с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:

– Мутноокой ночью сижу я – как сыч в дупле – в номерах, в нищем городе Свяжске, а – осень, октябрь, ленивенько дождь идет, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет – без конца песня: о-о-о-у-у-у... ...И вот пришла она, легкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах – обманная чистота души. Милый, – говорит честным голосом, – не виновата я против тебя. Знаю – врет, а верю – правда. Умом – твердо знаю, сердцем – не верю, никак.

Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал гла-

за и часто, мягким жестом касался груди своей против сердца.

Голос у него был глухой, тусклый, а слова – яркие, и что-то соловьиное пело в них.

Завидовал я Трусову, – этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев и однажды таинственно сказал о царе Александре III:

– Этот царь в своем деле мастер!

Трусов казался мне одним из тех «злодеев», которые в конце романа неожиданно для читателя – становятся великодушными героями.

Иногда, в душные ночи, эти люди переправлялись через речку Казанку, в луга, в кусты и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще – о сложности жизни, о странной путанице человеческих отношений, а особенно много – о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними две – три ночи под темным небом с тусклыми звездами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни мачтовых фонарей, в черную массу горного берега вкраплены огненные комья жилы – это светятся окна трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плицы колес пароходов; надсадно,

волками, воют матросы на караване барж; где-то бьет молот по железу; заунывно тянется песня, – тихонько тлеет чья-то душа, – от песни на сердце пеплом ложится грусть.

И еще грустнее слушать тихо скользящие речи людей, – люди задумались о жизни и говорят каждый о своем, почти не слушая друг друга. Сидя или лежа под кустами, они курят папиросы, изредка – не жадно – пьют водку, пиво и идут куда-то назад, по пути воспоминаний.

– А вот со мной был случай, – говорит кто-то придавленный к земле ночью тьмой.

Выслушав рассказ, люди соглашаются:

– Бывает и так, – все бывает...

«Было», «бывает», «бывало» – слышу я, и мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни – все уже было, больше ничего не будет.

Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова, но все-таки – нравились мне они, и по всей логике испытанного мною было бы вполне естественно, если б я пошел с ними. Оскорбленная надежда подняться вверх, начать учиться – тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление не только против «священного института собственности». Однако романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, идти по которой я был обречен. Кроме гуманного Брет-Гарта и бульварных романов я уже прочитал немало серьезных книг, они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более

значительному, чем все, что я видел.

И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Евреинова собирались гимназисты играть в городки, и меня очаровал один из них – Гурий Плетнев. – Смуглый, синеволосый как японец, с лицом в мелких черных точках, точно натертым порохом, неугасимо веселый, ловкий в играх, остроумный в беседе, – он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьем музыки, любя ее, он артистически играл на гусях, балалайке, гармонике; не пытаясь овладеть инструментом более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удалству, бойким движениям жилистого тела, широким жестам, – очень отвечали измятая, рваная рубаха, штаны в заплатках и дырявые, стоптанные сапоги.

Он был похож на человека, который после длительной и тяжелой болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы – все в жизни было для него ново, приятно, все возбуждало в нем шумное веселье – он прыгал по земле, как ракета-шутиха.

Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, веселой трущобе – «Марусовке», – вероятно знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был

большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоеванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнев помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна – стол, стул и это – все. Три двери выходили в коридор, за двумя жили проститутки, за третьей – чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жесткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьем, – сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и ребра скелета.

Он питался, кажется, только собственными ногтями, объедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но из-за жалости подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свертки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары, он, открывая дверь, хрипел в коридор:

– Хлеба!

В его глазах, провалившихся в темные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец, с вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на желтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной тиши-

не. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика.

– А я говорю – тюрьма! Геометрия – клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!

Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:

– К чорту! Вон!

Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетающуюся, – математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, кричал:

– Эвклид – дурак! Дур-рак... Я докажу, что бог умнее грека...

И хлопнул дверь настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.

Вскоре я узнал, что человек этот хочет, исходя от математики, доказать бытие бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.

Плетнев работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы, – нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, ка-

призно-гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться «слишком рано» и что, даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места, – по возрасту.

Плетнев и я спали на одной и той же койке, – я – ночами, он – днем. Измятый бессонной ночью, с лицом еще более потемневшим и воспаленными глазами, он приходил рано утром; я тотчас бежал в трактир за кипятком, самовара у нас, конечно, не было; потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика фельетониста «Красное домино» и удивлял меня шутливым отношением к жизни, – мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.

У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за «квартиру» ему было нечем, и он платил веселыми шутками, игрою на гармонике и трогательными песнями, – когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из ее нахальных глаз на пухлые, сизые щеки пьяницы и обжоры, обильно катились мелкие слезинки; она сгоняла их с кожи щек жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.

– Ах, Гурочка, – вздыхая, говорила она, – артист вы! И будь вы чуточку покрасивше – устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношей пристроила к женщинам, у кото-

рых сердце сучает в одинокой жизни.

Один из таких «юношев» жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего скорняка, парень среднего роста, широкогрудый с уродливо узкими бедрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен, – ступни ног студента были маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом, бескровном лице угрюмо тарасились выпуклые, зеленоватые глаза.

С великим трудом, вопреки воле отца, голодный, как бездомная собака, он исхитрился кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и ему захотелось учиться пению.

Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока, – сын у нее был уже студент на третьем курсе, дочь кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие, серые глаза, скрытые в темных ямах, одета она в черное платье, в шелковую старомодную головку, в ее ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зеленого цвета.

Иногда, вечерами или рано по утрам, она приходила к своему студенту, и я с Плетневым не раз наблюдал, как эта женщина, точно прыгнув в ворота, шла по двору решительным шагом. Лицо ее казалось нам страшным, губы так плотно сжаты, что почти не видны, глаза широко открыты и обреченно, тоскливо смотрят вперед, но – кажется, что она сле-

пая. Нельзя было сказать, что она уродлива, но в ней ясно чувствовалось напряжение, уродующее ее, как бы растягивая ее тело и до боли сжимая лицо.

– Смотри, – сказал Плетнев, – точно безумная!

Студент ненавидел купчиху, прятался от нее, а она преследовала его точно безжалостный кредитор или шпион.

– Сконфуженный человек я, – каялся он, выпивши. – И – зачем надо мне петь? Ведь с такой рожей и фигурой – не пустят меня на сцену, не пустят!

– Прекрати эту канитель! – советовал Плетнев.

– Да. Но жалко мне ее! Не выношу, а – жалко! Если бы вы знали, как она – эх...

Мы – знали, потому что слышали как эта женщина, стоя на лестнице, ночью, умоляла глухим, вздрагивающим голосом:

– Христа ради... голубчик, ну – Христа ради!

Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.

После чая Плетнев ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или вареной «требухи», мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.

Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам «Марусовки», присматриваясь, как живут новые для меня лю-

ди. Дом был очень тесно набит ими и похож на муравьиную кучу. В нем стояли какие-то кислые, едкие запахи, и всюду по углам, прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел, – непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко декламировал спившийся, полубезумный актер, истерически орали похмелевшие проститутки, и – возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос:

– Зачем все это?

Среди голодной молодежи бестолково болтался рыжий, плешивый, скуластый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади, – за эти зубы прозвали его «Рыжий конь». Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами и заявлял всем и каждому:

– Жив быть не хочу, а – разорю их в дребезг! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить, – после того я им ворочу все, что отсужу у них, все отдам и спрошу: – что, черти? То-то!

– Это – цель твоей жизни, Конь? – спрашивали его.

– Весь я, всей душой нацелился на это и больше ничего делать не могу.

Он целые дни торчал в окружном суде, в палате, у своего адвоката, часто, вечерами, привозил на извозчике множество кульков, свертков, бутылок и устраивал у себя в грязной

комнате с провисшим потолком и кривым полом шумные пиры, приглашая студентов, швеек, – всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам «Рыжий конь» пил только ром, – напиток, от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые темнорыжие пятна; – выпив, он завывал:

– Милые вы мои птицы! Люблю вас – честный вы народ! А я – злой подлец и крокодил, – желаю погубить родственников и – погублю. Ей богу! Жив быть не хочу, а...

Глаза «Коня» жалобно мигали, и нелепое, скуластое лицо орошалось пьяными слезами, он стирал их со щек ладонью и размазывал по коленям, шаровары его всегда были в масляных пятнах.

– Как вы живете? – кричал он. – Голод, холод, одежда плохая, – разве это – закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живете...

И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал:

– Кому денег надо? Берите, братцы!

Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, он хохотал, говоря:

– Да, это не вам! Это – студентам.

Но студенты денег не брали.

– К чорту деньги! – сердито кричал сын скорняка.

Он сам, однажды, пьяный, принес Плетневу пачку десятирублевых, смятых в твердый ком и сказал, бросив их на стол:

– Вот – надо? Мне – не надо...

Лег на койку нашу и зарычал, зарыдал так, что пришлось отпаивать и отливать его водою. Когда он уснул, Плетнев попытался разгладить деньги, но это оказалось невозможно: они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтобы отделить одну от другой.

В дымной, грязной комнате с окнами в каменную стену соседнего дома тесно и душно, шумно и кошмарно. «Конь» орет всех громче. Я спрашиваю его:

– Зачем вы живете здесь, а не в гостинице?

– Милый – для души! Тепло душе с вами...

Сын скорняка подтверждает:

– Верно, Конь! и я – тоже. В другом месте я бы пропал...

Конь просит Плетнева:

– Сыграй! Спой...

Положив гусли на колени себе, Гурий поет:

Ты взойди-ко, взойди, солнце красное...

Голос у него мягкий, проникающий в душу.

В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусельных струн.

– Хорошо, чорт! – ворчит несчастный купчихин утешитель.

Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнев, обладая мудростью, имя которой – веселье, играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими красками юности, освещала жизнь фейерверками славных шу-

ток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только что исполнилось двадцать лет, по внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше – любили его, похуже – боялись, и даже старый будочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой.

Двор «Марусовки» – «проходной», поднимаясь в гору, он соединял две улицы: Рыбнорядскую со Старо-Горшечной; на последней, недалеко от ворот нашего жилища приткнулась уютно в уголке будка Никифорыча.

Это – старший городской в нашем квартале; высокий, сухой старик, увешанный медалями, лицо у него – умное, улыбка – любезная, глаза – хитрые.

Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей, несколько раз в день его аккуратно вытесанная фигура являлась на дворе, шел он не торопясь и посматривал в окна квартир взглядом зрителя Зоологического сада в клетки зверей. Зимой, в одной из квартир были арестованы одорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры участники Ахал-Текинской экспедиции Скобелева; арестовали их, – а также Зобкина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и еще кого-то за попытку устроить тайную типографию. А однажды ночью был схвачен жандармами длинный, угрюмый житель, которого я про-

звал «Блуждающей колокольней». Утром, узнав об этом, Гурий возбужденно растрепал свои черные волосы и сказал мне:

– Вот что, Максимыч, тридцать семь чертей, беги, брат, скорее...

Объяснив, куда нужно бежать, он добавил:

– Смотри – осторожнее! Может быть, там сыщики...

Таинственное поручение страшно обрадовало меня, и я полетел в Адмиралтейскую слободу с быстротой стрижа. Там, в темной мастерской медника, я увидел молодого кудрявого человека с необыкновенно синими глазами; он лудил кастрюлю, но – был не похож на рабочего. А в углу, у тисков, возился, притирая кран, маленький старичок с ремешком на белых волосах.

Я спросил медника:

– Нет ли работы у вас?

Старичок сердито ответил:

– У нас – есть, а для тебя – нет!

Молодой, мельком взглянув на меня, снова опустил голову над кастрюлей. Я тихонько толкнул ногою его ногу, – он изумленно и гневно уставился на меня синими глазами, держа кастрюлю за ручку и как бы собираясь швырнуть ею в меня. Но, увидав, что я подмигиваю ему, сказал спокойно:

– Ступай, ступай...

Еще раз подмигнув ему, я вышел за дверь, остановился на улице; кудрявый, потягиваясь, тоже вышел и молча уставил-

ся на меня, закуривая папиросу:

– Вы – Тихон?

– Ну, да!

– Петра арестовали.

Он нахмурился, сердито щупая меня глазами.

– Какого это Петра?

– Длинный, похож на дьякона.

– Ну?

– Больше ничего.

– А какое мне дело до Петра, дьякона и всего прочего? – спросил медник, и характер его вопроса окончательно убедил меня: это не рабочий. Я побежал домой, гордясь тем, что сумел исполнить поручение. Таково было мое первое участие в делах конспиративных.

Гурий Плетнев был близок к ним, но в ответ на мои просьбы ввести меня в круг этих дел, говорил:

– Тебе, брат, рано! Ты – поучись...

Евреинов познакомил меня с одним таинственным человеком. Знакомство это было осложнено предосторожностями, которые внушили мне предчувствие чего-то очень серьезного. Евреинов повел меня за город, на Арское поле, предупреждая по дороге, что знакомство это требует от меня величайшей осторожности, его надо сохранить в тайне. Потом, указав мне вдали небольшую, серую фигурку, медленно шагающую по пустынному полю, Евреинов оглянулся, тихо говоря:

– Вот он! Идите за ним и, когда он остановится, подойдите к нему, сказав: я приезжий...

Таинственное всегда приятно, но здесь оно показалось мне смешным: знойный яркий день, в поле серую былинкой качается одинокий человечек, вот и все. Догнав его у ворот кладбища, я увидел пред собою юношу с маленьким, сухим личиком и строгим взглядом глаз, круглых как у птицы. Он был одет в серое пальто гимназиста, но светлые пуговицы отпороты и заменены черными, костяными, на изношенной фуражке заметен след герба, и вообще в нем было что-то преждевременно оципанное, – как будто он торопился показаться самому себе человеком вполне созревшим.

Мы сидели среди могил, в тени густых кустов. Человек говорил сухо, деловито и весь, насквозь не понравился мне. Строго расспросив меня, что я читал, он предложил мне заниматься в кружке, организованном им; я согласился, и мы расстались, – он ушел первый, осторожно оглядывая пустынное поле.

В кружке, куда входили еще трое или четверо юношей, я был моложе всех и совершенно не подготовлен к изучению книги Дж.-Ст. Милля с примечаниями Чернышевского. Мы собирались в квартире ученика Учительского института Миловского, – впоследствии он писал рассказы под псевдонимом Елеонский и, написав томов пять, кончил самоубийством; – как много людей, встреченных мною, ушло самовольно из жизни!

Это был молчаливый человек, робкий в мыслях, осторожный в словах. Жил он в подвале грязного дома и занимался столярной работой «для равновесия тела и души». С ним было скучно. Чтение книги Дж.-Ст. Милля не увлекало меня; – скоро основные положения экономики показались очень знакомыми мне; я усвоил их непосредственно, они были написаны на коже моей, и мне казалось, что не стоило писать толстую книгу трудными словами о том, что совершенно ясно для всякого, кто тратит силы свои ради благополучия и уюта «чужого дяди». С великим напряжением высиживал я два, три часа в яме, насыщенной запахом клея, рассматривая, как по грязной стене ползают мокрицы.

Однажды вероучитель опоздал притти в обычный час, и мы, думая, что он уже не придет, устроили маленький пир, купив бутылку водки, хлеба и огурцов. Вдруг мимо окна быстро мелькнули серые ноги нашего учителя, едва успели мы спрятать водку под стол, как он явился среди нас, и началось толкование мудрых выводов Чернышевского. Мы все сидели неподвижно, как истуканы, со страхом ожидая, что кто-нибудь из нас опрокинет бутылку ногою. Опрокинул ее наставник, опрокинул и, взглянув под стол, не сказал ни слова. Ох, уж лучше бы он крепко выругался!

Его молчание, суровое лицо и обиженно прищуренные глаза страшно смутили меня. – Поглядывая исподлобья на багровые от стыда лица моих товарищей, я чувствовал себя преступником против вероучителя и сердечно жалел его, хо-

тя водка была куплена не по моей инициативе.

На чтениях было скучно, хотелось уйти в Татарскую слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной жизнью добродушные ласковые люди; они говорят смешно искаженным русским языком, по вечерам, с высоких минаретов их зовут в мечети странные голоса муэдзинов, – мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, не знакомо мне, не похоже на то, что я знаю и что не радует меня.

Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце мое, – мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда.

Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром, – артель грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховый ветер, по серой реке сердито прыгали волны; ветер, бешено срывая их гребни, кропил реку холодным дождем. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожами и брезентом; баржу тащил маленький буксирный пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр.

Вечерело. Свинцовое, мокрое небо, темнея, опускалось над рекою. Грузчики ворчали и ругались, проклиная дождь, ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаясь спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз.

К полуночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт о борт к сидевшей на камнях, – артельный староста, ядовитый старичишка, рябой хитрец и сквернослов, с глазами и носом коршуна, сорвав с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким, бабьим голосом:

– Молись, ребята!

В темноте, на палубе баржи, грузчики сбились в черную кучу и заворчали как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал:

– Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С богом – начинай!

И тяжелые, ленивые, мокрые люди начали «показывать работу». Они точно в бой бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи, – с гиком, ревом, с прибаутками. Вокруг меня с легкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободря друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжелые, угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подолы на головы, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей метались черные люди, глухо топая ногами о палубы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырехпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине.

Работали играя, с веселым увлечением детей, с той пьяной радостью – делать, слаще которой только объятия женщины.

Большой бородатый человек в поддевке, мокрый, скользкий – должно быть хозяин груза или доверенный его – вдруг заорал возбужденно:

– Молодчики, ведро ставлю! – Разбойнички, два идет! Делай!

Несколько голосов сразу, со всех сторон тьмы густо рявкнули:

– Три ведра!

– Три пошло! Делай, знай!

И вихрь работы еще усилился.

Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я, и все вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя – месяца, года, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места, куда захотят.

Я жил эту ночь в радости не испытанной мною, душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекою ветер, – в серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые, мокрые люди и кричали, смеялись, любуясь своей силой, своим трудом. А, тут еще, ветер разодрал тяжелую массу облаков, и на синем, ярком пятне небес, сверкнул розоватый луч солнца

– его встретили дружным ревом веселые звери, встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлеченных ею.

Казалось, что такому напряжению радостно разъяренной силы ничто не может противостоять, она способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещи сказки. Посмотрев минуту, две на труд людей, солнечный луч не одолел тяжелой толщи облаков и утонул среди них, как ребенок в море, а дождь превратился в ливень.

– Шабаш! – крикнул кто-то, но ему свирепо ответили:

– Я те пошабашу!

И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождем и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля.

Потом перешли на пароход и там все уснули, как пьяные, а приехав в Казань, вывалились на песок берега потоком серой грязи и пошли в трактир пить три ведра водки.

Там ко мне подошел вор Башкин, осмотрел меня и спросил:

– Чего тобой делали?

Я с восторгом рассказал ему о работе, он выслушал меня и, вздохнув, сказал презрительно:

– Дурак. И – хуже того – идиет!

Посвистывая, виляя телом как рыба, он уплыл среди тесно составленных столов, – за ними шумно пировали грузчики; в углу кто-то, тенором, запевал похабную песню.

Эх, было это дельцо ночью порой,

Вышла прогуляться в садик барыня – эй!

Десяток голосов оглушительно заревел, прихлопывая ладонями по столам:

Сторож город сторожит,

Видит – барыня лежит...

Хохот, свист, и гремят слова, которым – по отчаянному цинизму – вероятно, нет равных на земле.

–

Кто-то познакомил меня с Андреем Деренковым, владельцем маленькой, бакалейной лавки, спрятанной в конце бедной, узенькой улицы, над оврагом, заваленным мусором.

Деренков, сухорукий человек, с добрым лицом в светлой бородке и умными глазами обладал лучшей в городе библиотекой запрещенных и редких книг, – ими пользовались студенты многочисленных учебных заведений Казани и различные революционно настроенные люди.

Лавка Деренкова помещалась в низенькой пристройке к дому скопца-менялы; дверь из лавки вела в большую комнату, ее слабо освещало окно во двор; за этой комнатой – продолжая ее – помещалась тесная кухня; за кухней в темных сенях, между пристройкой и домом, в углу прятался чулан, и в нем скрывалась злокозненная библиотека. Часть ее книг бы-

ла переписана пером в толстые тетради, – таковы были «Исторические письма» Лаврова, «Что делать?» Чернышевского, некоторые статьи Писарева, «Царь-голод», «Хитрая механика», – все эти рукописи были очень зачитаны, измяты.

Когда я впервые пришел в лавку, Деренков, занятый с покупателями, кивнул мне на дверь в комнату; я вошел туда и вижу: в сумраке, в углу, стоит на коленях, умиленно молясь, маленький старичок, похожий на портрет Серафима Саровского. Что-то неладное, противоречивое почувствовал я, глядя на старичка.

О Деренкове мне говорили, как о «народнике»; в моем представлении народник – революционер, а революционер не должен веровать в бога, – богомольный старичок показался мне лишним в этом доме.

Кончив молиться, он аккуратно пригладил белые волосы головы и бороды, присмотрелся ко мне и сказал:

– Отец Андрея. А вы кто будете? Вот как? А я думал – переодетый студент.

– Зачем же студенту переодеваться? – спросил я.

– Ну, да, – тихо отозвался старик, – ведь как ни переоденься – бог узнает!

Он ушел в кухню, а я, сидя у окна, задумался и вдруг услышал возглас:

– Вот он какой!

У косяка двери в кухню стояла девушка, одетая в белое; ее светлые волосы были коротко острижены, на бледном, пух-

лом лице сияли, улыбаясь, синие глаза. Она была очень похожа на ангела, как их изображают дешевые олеографии.

– Отчего вы испугались? Разве я такая страшная? – говорила она тонким, вздрагивающим голосом и осторожно, медленно подвигалась ко мне, держась за стену, точно она шла не по твердому полу, а по зыбкому канату, натянутому в воздухе. Это неумение ходить еще больше уподобляло ее существу иного мира. Она вся вздрагивала, как будто в ноги ей впивались иглы, а стена жгла ее детски пухлые руки. И пальцы рук были странно неподвижны.

Я стоял перед нею молча, испытывая чувство странного смятения и острой жалости. Все необычно в этой темной комнате.

Девушка села на стул так осторожно, точно боялась, что стул улетит из-под нее. Просто, как никто этого не делает, она рассказала мне, что только пятый день начала ходить, а до того почти три месяца лежала в постели – у нее отнялись руки и ноги.

– Это – нервная болезнь такая, – сказала она улыбаясь.

Помню, мне хотелось, чтобы ее состояние было объяснено как-то иначе; нервная болезнь – это слишком просто для такой девушки и в такой странной комнате, где все вещи робко прижались к стенам, а в углу, пред иконами слишком ярко горит огонек лампы и по белой скатерти большого, обеденного стола беспричинно ползает тень ее медных цепей.

– Мне много говорили о вас, – вот я и захотела посмотреть

какой вы, слышал я детски тонкий голос.

Эта девушка разглядывала меня каким-то невыносимым взглядом, что-то проницательно читающее видел я в синих глазах. С такой девушкой я не мог – не умел – говорить. И молчал, рассматривая портреты Герцена, Дарвина, Гарибальди.

Из лавки выскочил подросток одних лет со мною, бело-брысый, с наглыми глазами, он исчез в кухне, крикнув ломким голосом:

– Ты зачем вылезла, Марья?

– Это мой младший брат, – Алексей, – сказала девушка. – А я – учусь на акушерских курсах, да вот, захворала. Почему вы молчите? Вы – застенчивый?

Пришел Андрей Деренков, сунув за пазуху свою сухую руку, молча погладил сестру по мягким волосам, растрепал их и стал спрашивать – какую работу я ищу?

Потом явилась рыжекудрая, стройная девица с зеленоватыми глазами, строго посмотрела на меня и, взяв белую девушку под руки, увела ее, сказав:

– Довольно, Марья!

Имя не шло девушке, было грубо для нее.

Я тоже ушел, странно взволнованный, а через день, вечером, снова сидел в этой комнате, пытаюсь понять – как и чем живут в ней? Жили странно.

Милый, кроткий старик Степан Иванович, беленький и как бы прозрачный, сидел в уголке и смотрел оттуда, шевеля

темными губами, тихо улыбаясь, как будто просил:

– Не трогайте меня!

В нем жил заячий испуг, тревожное предчувствие несчастья, – что было ясно мне.

Сухорукий Андрей, одетый в серую куртку, замазанную на груди маслом и мукою до твердости древесной коры, ходил по комнате как-то боком, виновато улыбаясь, точно ребенок, которому только что простили какую-то шалость. Ему помогал торговать Алексей – ленивый, грубый парень. Третий брат – Иван, учился в Учительском институте и, живя там в интернате, бывал дома только по праздникам, – это был маленький, чисто одетый, гладко причесанный человек, похожий на старого чиновника. Больная Мария жила где-то на чердаке и редко спускалась вниз, а когда она приходила, я чувствовал себя неловко, точно меня связывало невидимыми путами.

Хозяйство Деренковых вела сожительница домохозяйки-скопца, высокая худощавая женщина с лицом деревянной куклы и строгими глазами злой монахини. Тут же вертелась ее дочь, рыжая Настя, – когда она смотрела зелеными глазами на мужчин – ноздри ее острого носа вздрагивали.

Но действительными хозяевами в квартире Деренковых были студенты Университета, Духовной академии, Ветеринарного института, – шумное сборище людей, которые жили в настроении забот о русском народе, в непрерывной тревоге о будущем России. Всегда возбужденные статьями газет,

выводами только что прочитанных книг, событиями в жизни города и университета, они по вечерам сбегались в лавочку Деренкова со всех улиц Казани для яростных споров и тихого шопота по углам. Приносили с собою толстые книги и, тыкая пальцами в страницы их, кричали друг на друга, утверждая истины, кому какая нравилась.

Разумеется, я плохо понимал эти споры, истины терялись для меня в обилии слов, как звездочки жира в жидком супе бедных. Некоторые студенты напоминали мне стариков начетчиков сектантского Поволжья, но я понимал, что вижу людей, которые готовятся изменить жизнь к лучшему, и хотя искренность их захлебывалась в бурном потоке слов, но – не тонула в нем. Задачи, которые они пытались решать, были ясны мне, и я чувствовал себя лично заинтересованным в удачном решении этих задач. Часто мне казалось, что в словах студентов звучат немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу.

Они смотрели на меня точно столяры на кусок дерева, из которого можно сделать не совсем обыкновенную вещь.

– Самородок! – рекомендовали они меня друг другу с такой же гордостью, с какой уличные мальчишки показывают один другому медный пятак, найденный на мостовой. Мне почему-то не нравилось, когда меня именовали – «самородком» и «сыном народа», – я чувствовал себя пасынком жизни и, порою, очень испытывал тяжесть силы, руководившей

развитием моего ума. Так, увидав в окне книжного магазина книгу, озаглавленную неведомыми мне словами «Афоризмы и максимы», я воспылил желанием прочитать ее и попросил студента Духовной академии дать мне эту книгу.

– Здравствуйте! – иронически воскликнул будущий архиерей, человек с головою негра, – курчавый, толстогубый, зубастый. – Это, брат, ерунда. Ты читай, что дают, а в область, тебе не подобающую, – не лезь!

Грубый тон учителя очень задел меня. Книгу я, конечно, купил, заработав часть денег на пристанях, а часть заняв у Андрея Деренкова. Это была первая серьезная книга, купленная мною, она до сей поры сохранилась у меня.

Вообще – со мною обращались довольно строго: когда я прочитал «Азбуку социальных наук», мне показалось, что роль пастушеских племен в организации культурной жизни преувеличена автором, а предприимчивые бродяги, охотники – обижены им. Я сообщил мои сомнения одному филологу, – а он, стараясь придать бабьему лицу своему выражение внушительное, целый час говорил мне о «праве критики».

– Чтоб иметь право критиковать, надо верить в какую-то истину, – во что верите вы? – спросил он меня.

Он читал книги даже на улице, – идет по панели, закрыв лицо книгой, и толкает людей. Валяясь у себя на чердаке в голодном тифе, он кричал:

– Мораль должна гармонически совмещать в себе элементы свободы и принуждения, – гармонически, гар-гар-гарм...

Нежный человек, полубольной от хронического недоедания, изнуренный упорными поисками прочной истины, он не знал никаких радостей, кроме чтения книг, и когда ему казалось, что он примирил противоречия двух сильных умов, его милые, темные глаза детски счастливо улыбались. Лет через десять после жизни в Казани, я снова встретил его в Харькове; он отбыл пять лет ссылки в Кемь и снова учился в университете. Он показался мне живущим в муравьиной куче противоречивых мыслей, – погибая от туберкулеза, он старался примирить Ницше с Марксом, харкал кровью и хрипел, хватая мои руки холодными липкими пальцами

– Без синтеза – невозможно жить!

Он умер на пути в университет в вагоне трамвая.

Немало видел я таких великомучеников разума ради, – память о них священна для меня.

Десятка два подобных людей собирались в квартире Деренкова; среди них был даже японец, студент Духовной академии Пантелеймон Сато. Порою являлся большой, широкогрудый человек, с густою окладистой бородицей и по-татарски бритой головою. Он казался туго зашитым в серый казакин, глухо застегнутый на крючки до подбородка. Обыкновенно он сидел где-нибудь в углу, покуривая трубку и глядя на всех серыми, спокойно читающими глазами. Его взгляд часто и пристально останавливался на моем лице, я чувствовал, что серьезный этот человек мысленно взвешивает меня, и, почему-то, опасался его. Его молчаливость удивляла ме-

ня, все вокруг говорили громко, много, решительно, и чем более резко звучали слова, тем больше, конечно, они нравились мне, – я очень долго не догадывался, как часто в резких словах прячутся мысли жалкие и лицемерные. О чем молчит этот бородатый богатырь?

Его звали «Хохол» и, кажется, никто, кроме Андрея, не знал его имени. Вскоре мне стало известно, что человек этот недавно вернулся из ссылки, из Якутской области, где он прожил десять лет. Это усилило мой интерес к нему, но не внушило мне смелости познакомиться с ним, хотя я не страдал ни застенчивостью, ни робостью, а, напротив, болел каким-то тревожным любопытством, жадной все знать и как можно скорее. Это качество всю жизнь мешало мне серьезно заняться чем-либо одним.

Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным и единосущным, вместилищем начал всего прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел – плотников, грузчиков, каменщиков; знал – Якова, Осипа, Григория; а тут говорили именно о единосущном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли. Мне же казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли, в них сосредоточена и горит добрая, человеколюбивая воля к жизни, к свобо-

де строительства ее по каким-то новым канонам человеколюбия.

Именно человеколюбия не наблюдал я в человечках, среди которых жил до той поры, а здесь оно звучало в каждом слове, горело в каждом взгляде.

Освежающим дождем падали на сердце мое речи народопоклонников, и очень помогла мне наивная литература о мрачном житии деревни, о великомученике-мужике. Я почувствовал, что только очень крепко, очень страстно любя человека, можно почерпнуть в этой любви необходимую силу для того, чтоб найти и понять смысл жизни. Я перестал думать о себе и начал внимательнее относиться к людям.

Андрей Деренков доверчиво сообщил мне, что скромные доходы его торговли целиком идут на помощь людям, которые верят: «счастье народа прежде всего». Он вертелся среди них, точно искренно верующий дьячок за архиерейской службой, не скрывая восторга пред бойкой мудростью книгочеев; счастливо улыбаясь, засунув сухую руку за пазуху, дергая другою рукой во все стороны мягкую бородку свою, он спрашивал меня:

– Хорошо? То-то же!

И когда против народников еретически возражал ветеринар Лавров, – обладатель странного голоса, подобного гоготу гуся. – Деренков, испуганно закрывая глаза, шептал:

– Какой смутьян!

Его отношение к народникам было сродно моему, но от-

ношение студенчества к Деренкову казалось мне грубоватым и небрежным отношением господ к работнику, трактирному лакею. Сам он этого не замечал. Часто, проводив гостей, он оставлял меня ночевать; мы чистили комнату и потом, лежа на полу, на войлоках, долго дружеским шопотом беседовали во тьме, едва освещенной огоньком лампы. С тихой радостью верующего он говорил мне:

– Накопятся сотни, тысячи таких хороших людей, займут в России все видные места и сразу переменят всю жизнь.

Он был лет на десять старше меня, и я видел, что рыжеволосая Настя очень нравится ему, он старался не смотреть в ее задорные глаза, при людях говорил с нею сухо, командующим голосом хозяина, но провожал ее тоскующим взглядом, а говоря наедине с нею, смущенно и робко улыбался, дергая бородку.

Его маленькая сестренка наблюдала словесные битвы тоже из уголка; детское лицо ее смешно надувалось напряжением внимания, глаза широко открывались, а когда звучали особенно резкие слова, – она шумно вздыхала, точно на нее брызнули ледяной водой. Около нее солидным петухом расхаживал рыжеватый медик, он говорил с нею таинственным полушопотом и внушительно хмурил брови. Все это было удивительно интересно.

Но – наступила осень, жизнь без постоянной работы стала невозможна для меня. Увлеченный всем, что творилось вокруг, я работал все меньше и питался чужим хлебом, а он

всегда очень туго идет в горло. Нужно было искать на зиму «место», и я нашел его в крендельной пекарне Василия Семенова.

Этот период жизни очерчен мною в рассказах: «Хозяин», «Коновалов», «Двадцать шесть и одна». Тяжелое время! Однако – поучительное.

Тяжело было физически, еще тяжелее – морально.

Когда я опустился в подвал мастерской, между мною и людьми, видеть и слушать которых стало уже необходимо для меня, выросла «стена забвения». Никто из них не ходил ко мне в мастерскую, а я, работая четырнадцать часов в сутки, не мог ходить к Деренкову в будни, в праздничные же дни или спал, или же оставался с товарищами по работе. Часть их с первых же дней стала смотреть на меня как на забавного шута, некоторые отнеслись с наивной любовью детей к человеку, который умеет рассказывать интересные сказки. Чорт знает, что я говорил этим людям, но, разумеется, все, что могло внушить им надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни. Иногда это удавалось мне, и, видя как опухшие лица освещаются человеческой печалью, а глаза вспыхивают обидой и гневом, – я чувствовал себя празднично и с гордостью думал, что «работаю в народе», «просвещаю» его.

Но, разумеется, чаще приходилось мне испытывать мое бессилие, недостаток знаний, неумение ответить даже на простейшие вопросы жизни, быта. Тогда я чувствовал себя

сброшенным в темную яму, где люди копошатся, как слепые черви, стремясь только забыть действительность и находя это забвение в кабаках, да в холодных объятиях проституток.

Посещение публичных домов было обязательно каждый месяц в день полочки заработка; об этом удовольствии мечтали вслух за неделю до счастливого дня, а прожив его – долго рассказывали друг другу об испытанных наслаждениях. В этих беседах цинически хвастались половой энергией, жестоко глумились над женщинами, говорили о них брезгливо отплевываясь.

Но – странно! – за всем этим я слышал – мне чудилось – печаль и стыд. Я видел, что в «домах утешения», где за рубль можно было купить женщину на всю ночь, мои товарищи вели себя смущенно, виновато, – это казалось мне естественным. А некоторые из них держались слишком развязно, с удалством, в котором я чувствовал нарочитость и фальшь. Меня жутко интересовало отношение полов, и я наблюдал за этим с особенной остротой. Сам я еще не пользовался ласками женщины, и это ставило меня в неприятную позицию: надо мною зло издевались и женщины, и товарищи. Скоро меня перестали приглашать в «дома утешения», заявив откровенно:

- Ты, брат, с нами не ходи.
- Почему?
- Так, уж! Не хорошо с тобой.

Я цепко ухватился за эти слова, чувствуя в них что-то важное для меня, но не получил объяснения более толкового.

– Экой, ты! Сказано тебе – не ходи. Скушно с тобой...

И только Артем сказал, усмехаясь:

– Вроде, как при попе, али при отце.

Девицы сначала высмеивали мою сдержанность, потом стали спрашивать с обидой:

– Брезгуешь?

Сорокалетняя «девушка» пышная и красивая полька Тереза Борута «экономка», глядя на меня умными глазами породистой собаки, сказала:

– Оставимте ж его, подруги, – у него обязательно невеста есть – да? Такой силач обязательно невестой держится, больше ничем.

Алкоголичка, она пила запоем и пьяная была неопишимо отвратительна, а в трезвом состоянии удивляла меня вдумчивым отношением к людям и спокойным исканием смысла в их деяниях.

– Самый же непонятный народ – это обязательно студенты Академии, да! – рассказывала она моим товарищам. – Они такое делают с девушками: велят помазать пол мылом, поставят голую девушку на четвереньки, руками – ногами на тарелки и толкают ее в зад – далеко ли уедет по полу? Так – одну, так и другую. Вот. Зачем это?

– Ты врешь! – сказал я.

– Ой, нет! – воскликнула Тереза не обижаясь, спокойно,

и в спокойствии этом было что-то подавляющее.

– Ты выдумала это.

– Как же такое можно выдумать девушке? Разве я – сумасшедшая? – спросила она, вытаращив глаза.

Люди прислушивались к нашему спору с жадным вниманием, а Тереза все рассказывала об играх гостей бесстрастным тоном человека, которому нужно только одно: понять – зачем это?

Слушатели с отвращением отплевывались, дико ругали студентов, а я, видя, что Тереза возбуждает вражду к людям уже излюбленным мною, – говорил, что студенты любят народ, желают ему добра.

– Так то студенты с Воскресной улицы, штатские, с университета, я ж говорю о духовных, с Арского поля! Они, духовные, – сироты все, а сирота растет обязательно вором или озорником, плохим человеком растет, он же ни к чему не привязан, сирота!

Спокойные рассказы «экономки» и злые жалобы девушек на студентов, чиновников, и вообще на «чистую публику», вызывали в товарищах моих не только отвращение и вражду, но почти радость, она выражалась словами:

– Значит, образованные-то хуже нас!

Мне тяжело и горько было слышать эти слова. Я видел, что в полутемные, маленькие комнаты стекается, точно в ямы, грязь города; вскипает на чадном огне и, насыщенная враждою, злобой, снова изливается в город. Я наблюдал, как в

этих щелях, куда инстинкт и скука жизни забивают людей, создаются из нелепых слов трогательные песни о тревогах и муках любви, как возникают уродливые легенды о жизни «образованных людей», зарождается насмешливое и враждебное отношение к непонятному, – и видел, что «дома утешения» являются университетами, откуда мои товарищи выносят знания весьма ядовитого характера.

Смотрел я, как по грязному полу двигаются, лениво шаркая ногами, «девушки для радости», как отвратительно трясутся их дряблые тела под назойливый визг гармоника, или под раздражающий треск струн разбитого пианино, смотрел – и у меня зарождались какие-то неясные, но тревожные мысли. От всего вокруг истекла скука, отравляя душу бессильным желанием куда-то уйти, где-то спрятаться.

Когда в мастерской я начинал рассказывать о том, что есть люди, которые бескорыстно ищут путей к свободе, к счастью народа, – мне возражали:

– А, вот, девки не то говорят про них!

И нещадно, с цинической злостью высмеивали меня, а я был задорным кутенком, чувствовал себя не глупее и смелее взрослых собак, – я тоже злился. Начиная понимать, что думы о жизни – не менее тяжелы, чем сама жизнь, я, порою, ощущал в душе вспышки ненависти к упрямо терпеливым людям, с которыми работал. Меня особенно возмущала их способность терпеть, покорная безнадежность, с которой они подчинялись полубезумным издевательствам пьяно-

го хозяина.

И – как нарочно – именно в эти тяжелые дни мне довелось познакомиться с идеей совершенно новой и хотя органически враждебной мне, но все-таки очень смутившей меня.

В одну из тех выюжных ночей, когда кажется, что злобно воющий ветер изорвал серое небо в мельчайшие клочья и они сыплются на землю, хороня ее под сугробами ледяной пыли, и кажется, что кончилась жизнь земли, солнце погашено, не взойдет больше, – в такую ночь, на Масленой неделе я возвращался в мастерскую от Деренковых. Шагал, закрыв глаза, против ветра, сквозь мутное кипение серого хаоса и вдруг – упал, наскочив на человека, лежавшего поперек панели. Мы оба выругались, я – по-русски, он на французском языке:

– О, дьявол...

Это возбудило мое любопытство, я поднял его, поставил на ноги, – он был маленького роста, легкий. Толкая меня, он гневно кричал:

– Моя шапка, чорт вас возьми! Отдайте шапку! Я – замерзну!

Найдя в снегу шапку, я встряхнул ее, надел на его ершистую голову, но он сорвал шапку и, махая ею на меня, ругался на двух языках, гнал меня:

– Прочь!

Вдруг бросился вперед и утонул в кипящей кашнице. Идя дальше, я снова увидел его – он стоял, обняв руками дере-

вянный столб погашенного фонаря, и убедительно говорил:

– Лена, я погибаю... о, Лена...

Видимо, он был пьян и, пожалуй, замерз бы, оставь я его на улице. Я спросил, где он живет.

– Какая это улица? – закричал он со слезами в голосе. – Я не знаю, куда итти.

Я обнял его за талию и повел, допрашивая, где он живет.

– На Булаке, – бормотал он, вздрагивая. – На Булаке... там – бани, дом...

Шагал он неверно, сбивчиво и мешал мне итти; я слышал, как стучали его зубы:

– Си тю савэ, – бормотал он, толкая меня.

– Что вы говорите?

Он остановился, поднял руку и сказал внятно, – с гордостью, как показалось мне:

– Си тю савэ у же те мен...

И сунул пальцы руки в рот себе, качаясь, почти падая. Присев, я взял его на спину себе и понес, а он, упираясь подбородком в череп мой, ворчал:

– Си тю савэ у... Но я замерзаю, о, боже...

На Балаке я с трудом добился у него – в каком доме он бивет; наконец, мы влезли в сени маленького флигеля, спрятанного в глубине двора и вихрях снега. Он нащупал дверь, осторожно постучал и зашипел:

– Шш! Тише...

Дверь открыла женщина в красном капоте, с зажженной

свечей в руке; уступив нам дорогу, она молча отошла в сторону и, вынув откуда-то лорнет, стала рассматривать меня.

Я сказал ей, что у человека, кажется, застыли руки и его необходимо раздеть, уложить в постель.

– Да? – спросила она звучно и молодо.

– Руки нужно опустить в холодную воду...

Она молча указала лорнетом в угол, там, на мольберте стояла картина, – река, деревья. Я удивленно взглянул в лицо женщины странно неподвижное, а она отошла в угол комнаты, к столу, на котором горела лампа под розовым абажуром, села там и, взяв со стола валега червей, стала рассматривать его.

– У вас нет водки? – громко спросил я. Она не ответила, раскладывая по столу карты. Человек, которого я привел, сидел на стуле, низко наклонив голову, свесив вдоль туловища красные руки. Я положил его на диван и стал раздевать, ничего не понимая, живя как во сне. Стена предо мною, над диваном была сплошь покрыта фотографиями, среди них тускло светился золотой венок в белых бантах ленты, на конце ее золотыми буквами было напечатано:

«Несравненной Джильде».

– Чорт побери – тише! – застонал человек, когда я начал растирать его руки.

Женщина озабоченно и молча раскладывала карты. Лицо у нее остроносое, птичье, его освещают большие, неподвижные глаза. Вот она руками девочки-подростка взбила

седые свои волосы, пышные, точно парик, и спросила тихо, но звучно:

– Ты видел Мишу, Жорж?

Жорж оттолкнул меня, быстро сел и торопливо сказал:

– Но, ведь, он уехал в Киев...

– Да, в Киев, – повторила женщина, не отводя глаз от карт, и я заметил, что голос ее звучит однотонно, не выразительно.

– Он скоро приедет...

– Да?

– О, да! Скоро.

– Да? – повторила женщина.

Полураздетый Жорж соскочил на пол и в два прыжка встал на колени у ног женщины, говоря ей что-то по-французски.

– Я спокойна, – по-русски ответила она.

– Я – заплутался, знаешь? Метель, страшный ветер, я думал замерзну. Мы немного пили, – торопливо рассказывал Жорж, глядя ее руку, лежавшую на колени. Ему было лет сорок, красное толстогубое лицо его с черными усами казалось испуганным, тревожным, он крепко потирал седую щетину волос на своем круглом черепе и говорил все более трезво.

– Мы завтра едем в Киев, – сказала женщина, не то – спрашивая, не то – утверждая.

– Да, завтра! И тебе нужно отдохнуть. Почему ты не ляжешь? Уже очень поздно...

– Он не приедет сегодня – Миша?

– О, нет! Такая метель... Идем, ляг...

Он увел ее в маленькую дверь за шкафом книг, взяв лампу со стола. Я долго сидел один, ни о чем не думая, слушая его тихий, сиповатый голос. Мохнатые лапы шаркали по стеклам окна. В луже растаявшего снега робко отражалось пламя свечи. Комната была тесно заставлена вещами, теплый странный запах наполнял ее, усыпляя мысль.

Вот Жорж явился, пошатываясь, держа в руках лампу, абажур ее дробно стучал о стекло.

– Легла.

Поставил лампу на стол, задумчиво остановился среди комнаты и заговорил, не глядя на меня:

– Ну, что же? Без тебя, вероятно, я бы погиб... Спасибо! Ты кто?

Он склонил голову на бок, прислушиваясь к шороху в соседней комнате и вздрагивая.

– Это ваша жена? – тихонько спросил я.

– Жена. Все. Вся жизнь! – раздельно, не громко, глядя в пол, сказал этот человек и снова начал крепко растирать голову ладонями.

– Чаю выпить, – а?

Он рассеянно пошел к двери, но остановился, вспомнив, что прислуга объелась рыбой и ее отправили в больницу.

Я предложил поставить самовар, он согласно кивнул головой и, видимо, забыв, что полураздет, шлепая босыми ногами по мокрому полу, отвел меня в маленькую кухню. Там,

прислонясь спиной к печке, он повторил:

– Без тебя я бы замерз, – спасибо!

И вдруг, вздрогнув, уставился на меня испуганно расширенными глазами.

– Что же было бы с нею тогда? О, господи...

Быстро, шопотом, глядя в темную дыру двери, он сказал:

– Ты видишь, – она больная. У нее застрелился сын, музыкант, в Москве, а она все ждет его, вот уже два года, почти...

Потом, когда мы пили чай, он бессвязно, не обычными словами рассказал, что женщина – помещица, он – учитель истории, был репетитором ее сына, влюбился в нее, она ушла от мужа-немца, барона, – пела в опере, они жили очень хорошо, хотя первый муж ее всячески старался испортить ей жизнь.

Рассказывал он, как будто читая неясно написанное, прищурив глаза, напряженно присматриваясь к чему-то в полутьме грязной кухни, с прогнившим у печки полом. Обжигался, прихлебывая чай, лицо его морщилось, круглые глаза пугливо мигали.

– Ты – кто? – еще раз спросил он. – Да, – крендельщик, рабочий. Странно, не похоже. Что это значит?

Слова его звучали беспокойно, он смотрел на меня недоверчиво, взглядом затравленного.

Я кратко рассказал о себе.

– Вот как? – тихо воскликнул он. – Да, вот как...

И вдруг оживился, спрашивая:

– Ты знаешь сказку о «Гадком утенке»? Читал?

Лицо его исказилось, он начал говорить с гневом, изумляя меня неестественными – до визга – повышениями сиповатого голоса.

– Эта сказка – соблазняет! В твои годы я тоже подумал – не лебедь ли я? И – вот... Должен был итти в академию – пошел в университет. Отец священник – отказался от меня. Изучал – в Париже – историю несчастий человечества, историю прогресса. Писал, да. О, как все это...

Он подскочил на стуле, прислушался и затем сказал мне:

– Прогресс – это выдуманно для самоутешения! Жизнь – неразумна, лишена смысла. Без рабства – нет прогресса, без подчинения большинства меньшинству – человечество остановится на путях своих. Желая облегчить нашу жизнь, наш труд, мы только усложняем ее, увеличиваем труд. Фабрики и машины для того, чтобы делать еще и еще машины, это – глупо. Все больше становится рабочих, а необходим только крестьянин, производитель хлеба. Хлеб – это все, что надо взять трудом у природы. Чем меньше нужно человеку – тем более он счастлив, чем больше желаний – тем меньше свободы.

Быть может – не в этих словах, но именно эти оглушающие мысли впервые слышал я, да еще в такой резкой, оголенной форме. Человек, взвизгнув от возбуждения, боязливо останавливал взгляд на двери, открытой во внутренние комнаты, минуту слушал тишину и снова шептал почти с

яростью.

– Пойми, – каждому нужно немного: кусок хлеба и женщину...

Заговорив о женщине таинственным шопотом, словами, которых я не знал, стихами, которых не читал, – он вдруг стал похож на вора Башкина.

– Беатриче, Фиаметта, Лаура, Нинон, – шептал он имена незнакомые мне и рассказывал о каких-то влюбленных королях, поэтах, читал французские стихи, отсекая ритмы тонкой, голой до локтя рукою.

– Любовь и голод правят миром, – слышал я горячий шопот и вспомнил, что эти слова напечатаны под заголовком революционной брошюры «Царь-голод», – это придавало им в моих мыслях – особенно веское значение.

– Люди ищут забвения, утешения, а не – знания!

Эта мысль окончательно поразила меня.

Я ушел из кухни утром, – маленькие часы на стене показывали шесть с минутами. Шагал в серой мгле по сугробам, слушая вой метели и вспоминая яростные взвизгивания разбитого человека; чувствовал, что его слова остановились где-то в горле у меня, душат. Не хотелось идти в мастерскую видеть людей, – и, таская на себе кучу снега, я шатался по улицам Татарской слободы до поры, когда стало светло и среди волн снега начали нырять фигуры жителей города.

Больше я никогда не встречал учителя и не хотел встретить его. Но впоследствии я неоднократно слышал речи о

бессмыслии жизни и бесполезности труда, – их говорили безграмотные странники, бездомные бродяги, «толстовцы» и высоко-культурные люди. Говорил об этом иеромонах, магистр богословия, химик, работавший по взрывчатым веществам, биолог, – неовиталист и многие еще. Но эти идеи уже не влияли на меня так ошеломляюще, как тогда, когда я впервые познакомился с ними.

И только, вот, года два тому назад – спустя более тридцати лет после первой беседы на эту тему – я неожиданно услышал те же мысли и почти в тех же словах от старого знакомого моего, рабочего.

Однажды у меня с ним завязалась беседа «по душе» и этот человек, невесело усмехаясь, сказал мне с тою бесстрашной искренностью, которой обладают, кажется, только русские люди.

– А. М., – милый, – ничего не надо, никуда все это: академии, науки, аэропланы, – лишнее! Надобно только угол тихий и – бабу, чтоб я ее целовал, когда хочу, а она мне честно – душой и телом – отвечала, – вот! Вы – по интеллигентски рассуждаете, вы – уж не наш, а – отравленный человек, для вас идея выше людишек, вы по-еврейски думаете: человек – для субботы?

– Евреи не думают так...

Мы сидели на набережной Невы, на гранитной скамье, лунной ночью осени, оба истерзанные днем бесполезных волнений, упрямого, но безуспешного желания сделать что-

то доброе, полезное.

– Вы с нами, а – не наш, вот что я говорю, – продолжал он вдумчиво, тихо. – Интеллигентам приятно беспокоиться, они издаля веков присовокупились к бунтам. Как Христос был идеалистом и бунтовал для надземных целей, так и вся интеллигенция бунтует для утопии. Бунтует – идеалист, а с ним никчемность, негодяйство, сволочь, и все – со зла: видят они, что места в жизни нет для них. Рабочий восстает для революции, – ему нужно добиться правильного распределения орудий и продуктов труда. Захватив власть окончательно, – думаете, согласится он на государство? Ни за что. Все разойдутся, и каждый, за свой страх, устроит себе спокойный уголок... Техника, говорите? Так она еще туже затягивает петлю на шее нашей, еще крепче вяжет нас. Нет, надо освободиться от лишнего труда. Человек покоя хочет. Фабрики да науки покоя не дадут. Одному – немного надо. Зачем я буду город громоздить, когда мне только маленький домик нужен? Где кучей живут, там – и водопроводы, и канализация, и электричество. А попробуйте без этого жить, – как легко будет! Нет, много лишнего у нас, и все это – от интеллигенции. Потому я и говорю: интеллигенция вредная категория.

Я сказал, что никто не умеет так глубоко и решительно обесмысливать жизнь, как это делаем мы, русские.

– Самый свободный народ по духу, – усмехнулся мой собеседник. Только, – вы не сердитесь, я правильно рассуж-

даю, так миллионы наши думают, да – сказать не умеют... Жизнь надо устроить проще, тогда она будет милосерднее к людям...

Человек этот никогда не был «толстовцем», не обнаруживал склонности к анархизму, – я хорошо знаю историю его духовного развития.

После беседы с ним я невольно подумал: а что, если, действительно, миллионы русских людей только потому терпят тягостные муки революции, что лелеют в глубине души надежду освободиться от труда? Минимум труда, – максимум наслаждения, это очень заманчиво и увлекает, как все неосуществимое, как всякая утопия.

И мне вспомнились стихи Генрика Ибсена:

*Я консерватор? О, нет!
Я все тот же, кем был всю жизнь,
Не люблю перемещать фигуры,
Но – хотел бы смешать всю игру.
Помню только одну революцию,
Она была умнее последующих
И могла бы все разрушить
Разумею, конечно, Всемирный потоп.
Но – и тогда дьявола надули!
Вы знаете – Ной стал диктатором.
О, если это можно сделать честнее,
Я не откажусь помочь Вам,*

*Вы хлопчете о Всемирном потопе,
Я же, с радостью, суну торпеду под ковчег.*

Лавка Деренкова давала ничтожный доход, а количество людей и «делишек», нуждавшихся в материальной помощи, – все возрастало.

– Надо придумать что-нибудь, – озабоченно пощупывая бородку, говорил Андрей и виновато улыбался, тяжело вздыхал.

Мне казалось, что этот человек считает себя осужденным на бессрочную каторгу помощи людям и, хотя примирился с наказанием, но все-таки порою оно тяготит его.

Не однажды, разными словами, я спрашивал:

– Почему вы делаете это?

Он, видимо не понимая моих вопросов, отвечал на вопрос – для чего? говорил книжно и невразумительно о тяжелой жизни народа, о необходимости просвещения, знания.

– А – хотят, ищут люди знания?

– Ну, как же! Конечно! Ведь вы – хотите?

Да, я – хотел. Но – я помнил слова учителя истории:

«Люди ищут забвения, утешения, а не – знания».

Для таких острых идей – вредна встреча с людьми семнадцати лет от роду; идеи притупляются от этих встреч, люди тоже не выигрывают.

Мне стало казаться, что я всегда замечал одно и то же: людям нравятся интересные рассказы только потому, что поз-

воляют им забыть на час времени тяжелую, но привычную жизнь. Чем больше «выдумки» в рассказе, тем жаднее слушают его. Наиболее интересна та книга, в которой много красивой «выдумки». Кратко говоря – я плавал в чадном тумане.

Деренков придумал открыть булочную. Помню, – было совершенно точно высчитано, что это предприятие должно давать не менее тридцати пяти процентов на каждый оборот рубля. Я должен был работать «подручным» пекаря и, как «свой человек», следить, чтоб оный пекарь не воровал муку, яйца, масло и выпеченный товар.

И вот я переселился из большого грязного подвала в маленький, почище, – забота о чистоте его лежала на моей обязанности. Вместо артели в сорок человек предо мною был один, – у него седые виски, острая бородка, сухое, копченое лицо, темные, задумчивые глаза и странный рот: маленький точно у окуня, губы пухлые, толстые и сложены так, как будто он мысленно целуется. И что-то насмешливое светится в глубине глаз.

Он, конечно, воровал, – в первую же ночь работы он отложил в сторону десяток яиц, фунта три муки и солидный кусок масла.

– Это – куда пойдет?

– А это пойдет одной девчечке, – дружески сказал он и, сморщив переносье, добавил: – Ха-арошая девчонка!

Я попробовал убедить его, что воровство считается пре-

ступлением. Но или у меня не хватило красноречия, или я сам был недостаточно крепко убежден в том, что пытался доказать, – речь моя не имела успеха.

Лежа на ларе теста и глядя в окно на звезды, пекарь удивленно забормотал:

– Он меня – учит! Первый раз видит и – готово! – учит. А сам втрое моложе меня. Смешно...

Осмотрел звезды и спросил:

– Будто видел я тебя где-то, – ты у кого работал? У Семенова? Это где бунтовали? Так. Ну, значит, я тебя во сне видел...

Через несколько дней я заметил, что человек этот может спать сколько угодно и в любом положении, даже стоя, опершись на лопату. Засыпая, он приподнимал брови и лицо его странно изменялось, принимая иронически удивленное выражение. А любимой темой его были рассказы о кладях и снах. Он убежденно говорил:

– Землю я вижу насквозь, и вся она, как пирог, кладами начинена: котлы денег, сундуки, чугуны везде зарыты. Не раз бывало: вижу во сне знакомое место, скажем, баню, – под углом у ней сундук серебряной посуды зарыт. Проснулся и пошел ночью рыть, аршина полтора вырыл, – гляжу – угли и собачий череп. Вот оно, – нашел!.. Вдруг – трах! – окно вдребезги, и баба какая-то орет неистово: – Караул, воры! Конечно – убежал, а то бы – избили. Смешно.

Я часто слышу это слово: смешно! – но Иван Лутонин не

смеется, а только, улыбочиво прищурив глаза, морщит переносицу, расширяя ноздри.

Сны его – не затейливы, они так же скучны и нелепы, как действительность, и я не понимаю: почему он сны свои рассказывал с увлечением, а о том, что живет вокруг него – не любит говорить?

Весь город взволнован: застрелилась, приехав из-под венца, насильно выданная замуж дочь богатого торговца чаем. За гробом ее шла толпа молодежи, несколько тысяч человек, над могилой студенты говорили речи, полиция разгоняла их. В маленьком магазине рядом с пекарней все кричат об этой драме, комната за магазином набита студентами, к нам в подвал доносятся возбужденные голоса, резкие слова.

– Косы ей драли мало, девице этой, – говорит Лутонин, и вслед за этим сообщает: – Ловлю, будто, я карасей в пруде, вдруг – полицейский: стой, как ты смеешь? Бежать некуда, нырнул я в воду и – проснулся.

Но, хотя действительность протекала где-то за пределами его внимания, – он скоро почувствовал, что в булочной есть что-то необычайное: в магазине торгуют девицы, неспособные к этому делу, читающие книжки – сестра хозяина и подруга ее, большая, розовощекая, с ласковыми глазами. Приходят студенты, долго сидят в комнате за магазином, и кричат или шепчутся о чем-то. Хозяин бывает редко, а я – «подручный» – являюсь, как будто, управляющим булочной.

– Родственник ты хозяину? – спрашивает Лутонин. –

А, может, он тебя в зятя прочит? Нет. Смешно. А – зачем студенты шлятся? Для барышень... Н-да. Ну, это может быть... Хотя барышни незначительно вкусно-красивы... Студентишки-то, наверно, больше – едят булки, чем для барышень стараются...

Почти ежедневно в пять, шесть часов утра, на улице, у окна пекарни является коротконогая девушка; сложенная из полушарий различных размеров, она похожа на мешок арбузов. Спустив голые ноги в яму перед окном, она, позевывая, зовет:

– Ваня!

На голове у нее пестрый платок, из-под него выбиваются курчавые, светлые волосы, осыпая мелкими колечками ее красные, мячами надутые щеки, низенький лоб, щекоча полусонные глаза. Она лениво отмахивает волосы с лица маленькими руками, пальцы их забавно растопырены, точно у новорожденного ребенка. Интересно – о чем можно говорить с такой девицей. Я бужу пекаря, он спрашивает ее:

– Пришла?

– Видишь.

– Спала?

– Ну, а как же?

– Что видела во сне?

– Не помню...

Тихо в городе. Впрочем – где-то шаркает метла дворника, чирикают только что проснувшиеся воробьи. В стек-

ла окон упираются тепленькие лучи восходящего солнца. Очень приятны мне эти задумчивые начала дней. Вытянув в окно волосатую руку, пекарь щупает ноги девицы, она подчиняется исследованию равнодушно, без улыбки, мигая овечьими глазами.

– Пешков, вынимай сдобное, пора.

Я вынимаю из печи железные листы, пекарь хватает с них десяток плюшек, слоев, саяк, бросая их в подол девушке, а она, перебрасывая горячую плюшку с ладони на ладонь, кусает ее желтыми зубами овцы, обжигается и сердито стонет, мычит.

Любуясь ею, пекарь говорит:

– Опустит подол, бесстыдница...

А когда она уходит, он хвастается предо мною:

– Видал? Как ярочка, вся в кудряшках. Я, брат, чистоплотный: с бабами не живу, только с девицами. Это у меня – тринадцатая. Никифоруичу крестная дочь.

Слушая его восторги, я думаю:

– И мне – так жить?

Вынув из печи весовой белый хлеб, я кладу на длинную доску десять, двенадцать короваев, и поспешно несу их в лавочку Деренкова, а возвратясь назад, набиваю двухпудовую корзину булками и сдобными, и бегу в Духовную академию, чтоб поспеть к утреннему чаю студентов. Там, в обширной столовой, стою у двери, снабжая студентов булками «на книжку» и «за наличный расчет», – стою и слушаю их

споры о Толстом; – один из профессоров академии – Гусев – яростный враг Льва Толстого. Иногда у меня в корзине под булками лежат книжки, я должен незаметно сунуть их в руки того или другого студента, иногда – студенты прячут книги и записки в корзину мне.

Раз в неделю я бегаю еще дальше – в «Сумасшедший дом», где читал лекции психиатр Бехтерев, демонстрируя больных. Однажды он показывал студентам больного манией величия: когда в дверях аудитории явился этот длинный человек, в белом одеянии, в колпаке, похожем на чулок, я невольно усмехнулся, но он, остановясь на секунду рядом со мною, взглянул в лицо мне, и я отскочил, – как будто он ударил в сердце мое черным, но огненным острием своего взгляда. И все время, пока Бехтерев, дергая себя за бороду, почтительно беседовал с больным, я тихонько ладонью гладил лицо свое, как будто обожженное горячей пылью.

Больной говорил глухим басом, он чего-то требовал, грозно вытягивая из рукава халата длинную руку с длинными пальцами, мне казалось, что все его тело неестественно вытягивается, бесконечно растет, что этой темной рукою он, не сходя с места, достигнет меня и схватит за горло. Угрожающе и властно блеснул из темных ям костлявого лица пронизывающий взгляд черных глаз. Десятка два студентов рассматривают человека в нелепом колпаке, немногие – улыбаясь, большинство – сосредоточенно и печально, их глаза подчеркнута обыкновенны, в сравнении с его обжигающими

глазами. Он страшен, и что-то величественное есть в нем, – есть.

В рыбьем молчании студентов отчетливо звучит голос профессора, каждый вопрос его вызывает грозные окрики глухого голоса, он исходит как будто из-под пола, из мертвых, белых стен, движения тела больного архиерейски медленны и важны.

Ночью я писал стихи о маниаке, называя его «владыкой всех владык, другом и советником бога», и долго образ его жил со мною, мешая мне жить.

Работая от шести часов вечера почти до полудня, днем я спал, и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлеб в печь. По мере того, как я постигал тайны ремесла, пекарь работал все меньше, он меня «учил», говоря с ласковым удивлением:

– Ты – способный к работе, – через год, два – будешь пекарем. Смешно. Молодой ты, не будут слушать тебя, уважать не будут...

К моему увлечению книгами он относился неодобрительно:

– Ты бы не читал, а спал, – заботливо советовал он, но никогда не спрашивал, какие книги читаю я.

Сны, мечты о кладах и круглая, коротенькая девица совершенно поглощали его. Девица нередко приходила ночью, и тогда он или уводил ее в сени на мешки муки, или – если было холодно – говорил мне, сморщив переносье:

– Выдь на полчаса.

– Я уходил, думая: как страшно не похожа эта любовь на ту, о которой пишут в книгах...

В маленькой комнатке за магазином жила сестра хозяина, я кипятил для нее самовары, но старался возможно реже видеть ее – неловко было мне с нею. Ее детские глаза смотрели на меня все тем же невыносимым взглядом, как при первых встречах, в глубине этих глаз я подозревал улыбку и мне казалось, что это насмешливая улыбка.

От избытка сил я был очень неуклюж, пекарь, наблюдая как я ворочаю и таскаю пятипудовые мешки, говорил, сожалея:

– Силы у тебя – на троих, а ловкости нет. И, хоша ты длинный, а все-таки – бык...

Несмотря на то, что я уже немало прочитал книг, любил читать стихи и сам начинал писать их, – говорил я «своими словами». Я чувствовал, что они тяжелы, резки, но мне казалось, что только ими я могу выразить глубочайшую путаницу моих мыслей. А иногда я грубил нарочито, из протеста против чего-то чуждого мне и раздражавшего меня.

Один из учителей моих, студент математик, упрекал меня:

– Чорт вас знает, как говорите вы. Не словами, а – гирями! Вообще – я не нравился себе, как это часто бывает у подростков; видел себя смешным, грубым. Лицо у меня – скуластое, калмыцкое, голос – не послушен мне.

А сестра хозяина двигалась быстро, ловко, как ласточка в

воздухе и мне казалось, что легкость ее движений разноречит с круглой, мягкой фигуркой ее. Что-то неверное есть в ее жестах и походке, что-то нарочное. Голос ее звучит весело, она часто смеется и, слыша этот звонкий смех, я думаю: ей хочется, чтоб я забыл о том, какую я видел ее в первый раз. А я не хотел забыть об этом, мне было дорого необыкновенное, мне нужно было знать, что оно возможно, существует.

Иногда она спрашивала меня:

– Что вы читаете?

Я отвечал кратко, и мне хотелось спросить ее:

– А вам зачем знать это?

Однажды пекарь, лаская коротконогую, сказал мне хмельным голосом:

– Выдь на минутку. Эх, шел бы ты к хозяйской сестре, чего зеваешь? Ведь студенты...

Я обещал разбить ему голову гирей, если он скажет еще что-нибудь такое же, и ушел в сени, на мешки. В щель неплотно прикрытой двери слышу голос Лутонина:

– Зачем я буду сердиться на него? Он насосался книг и – вроде сумасшедшего живет...

В сенях пищат и возятся крысы, в пекарне мычит и стонет девица. Я вышел на двор; там лениво, почти бесшумно сыплется мелкий дождь, но все-таки душно, воздух насыщен запахом гари – горят леса. Уже далеко за полночь. В доме напротив булочной открыты окна; в комнатах, не ярко освещенных, поют:

*Сам Варламыш святой
С золотой головой,
Сверху глядя на них,
Улыбается...*

Я пытаюсь представить себе Марию Деренкову лежащей на коленях у меня, – как лежит на коленях пекаря его девица – и всем существом моим чувствую, что это невозможно, даже страшно.

*И всю ночь, напролет,
Он и пьет, и поет,
И еще-о!.. кое-чем
Занимается...*

Задорно выделяется из хора густое, басовое – о. Согнувшись, упираясь руками в колени, я смотрю в окно; сквозь кружево занавески мне видно квадратную яму, серые стены ее освещает маленькая лампа под голубым абажуром, перед нею, лицом к окну, сидит девушка и пишет. Вот – подняла голову и красной вставкой для пера поправила прядь волос на виске. Глаза ее прищурены, лицо улыбается. Она медленно складывает письмо, заклеивает конверт, проводя языком по краям его и, бросив конверт на стол, грозит ему маленьким пальцем, – меньше моего мизинца. Но – снова бе-

рет письмо, хмурясь, разрывает конверт, читает, заклеивает в другой конверт, пишет адрес, согнувшись над столом, и размахивает письмом в воздухе как белым флагом. Кружась, всплескивая руками, идет в угол, где ее постель, потом выходит оттуда, сняв кофточку – плечи у нее круглые, как пышки – берет лампу со стола и скрывается в углу. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собою, – он кажется безумным. Я хожу по двору, думая о том, как странно живет эта девушка, когда она одна в своей норе.

А когда к ней приходил рыжеватый студент и пониженным голосом, почти шопотом, говорил ей что-то, она вся сжималась, становясь еще меньше, смотрела на него, робко улыбаясь, и прятала руки за спину или под стол. Не нравился мне этот рыжий. Очень не нравился.

Пошатываясь, кутаясь в платок, идет коротконогая и урчит:

– Иди в пекарню...

Пекарь, выкидывая тесто из ларя, рассказывает мне, как утешительна и неутомима его возлюбленная, а я – соображаю:

– Что же будет со мною дальше?

И мне кажется, что где-то близко, за углом, меня ожидает несчастье.

Дела булочной идут так хорошо, что Деренков ищет уже другую, более обширную пекарню и решил нанять еще подручного. Это – хорошо, у меня слишком много работы, я

устаю до отупения.

– В новой пекарне ты будешь старшим подручным, – обещает мне пекарь. – Скажу, чтоб положили тебе десять рублей в месяц. Да.

Я понимаю, что ему выгодно иметь меня старшим, он – не любит работать, а я работаю охотно, усталость полезна мне, она гасит тревоги души, сдерживает настойчивые требования инстинкта пола. Но – не позволяет читать.

– Хорошо, что ты бросил книжки, – крысы бы с'ели их! – говорит пекарь. – А – неужто ты снов не видишь? Наверно – видишь, только – скрытен ты. Смешно. Ведь сны рассказывать – самое безвредное дело, тут опасаться нечего...

Он очень ласков со мною, кажется, – даже уважает меня. Или – боится, как хозяйского ставленника, хотя это не мешает ему аккуратно воровать товар.

ГОРОДОК

«Заметки из дневника воспоминания»

...Сижу за городом, на лысых холмах, едва прикрытых дерном; вокруг чуть заметны могилы, растоптанные копытами скота, развеянные ветром. Сижу у стены игрушечно-маленького кирпичного ящика, покрытого железной крышей, – издали его можно принять за часовню, но вблизи он больше похож на конуру собаки. За дверью его, окованной железом, хранятся цепи, плети, кнуты и еще какие-то орудия пыток, – ими терзали людей, зарытых здесь, на холмах. Они оставлены в память городу: не бунтуй!

Но горожане уже забыли: чьи люди перебиты здесь? Одни говорят: это казаки Степана Разина; другие утверждают: это мордва и чуваша Емельяна Пугача.

И только всегда пьяный старик нищий Затинщиков хвастливо говорит:

– Мы при обоих бунтовали...

С бесплодного холмистого поля дома города, серые, прижатые к земле, кажутся кучами мусора; там и тут они заросли по крыши густой пыльной зеленью. В грудах серогохлама торчит десяток колоколен и пожарная каланча, сверкают на солнце белые стены церквей, – это вызывает впечатление чистеньких полотняных заплат на грязных лохмотьях.

Сегодня праздник. До полудня горожане стояли в церк-вах, до двух часов ели и пили, теперь они отдыхают. Город безмолвен, не слышно даже плача детей.

День мучительно зноен. Серо-синее небо изливает на зем-лю невидимый, расплавленный свинец. В небе есть что-то непроницаемое и унылое; ослепительно-белое солнце как будто растеклось по небесам, растаяло. Жалкие рыжеватые былинки на могилах неподвижны и сухи. Земля потрескива-ет, шелушится на солнце, как сушеная рыба. Влево от хол-мов, за невидимой рекою, над голыми полями струится ма-рево, в нем качается, тает ушастая колокольня заречной сло-боды, – сто лет тому назад слобода эта принадлежала знаме-нитой Салтычихе, прославившей имя свое изощренным му-чительством крепостных рабов.

А город – накрыт облаком какой-то мутной, желтоватой пыли. Может быть, это – дыхание спящих людей.

–

Странные люди живут в этом городе. Владелец войлочно-го завода, человек солидный, не глупый, четвертый год чи-тает Карамзина «Историю Государства Российского», дошел уже до девятого тома.

– Велико сочинение! – говорит он, уважительно поглажи-вая кожаный переплет книги. – Царская книга. Сразу пони-маешь – мастак сочинял. Зимним вечером начнешь читать и – все дела житейские забудешь. Приятно. Большое утешение человеку – книга! Ежели она с высоты разума написана...

Однажды, играя пышной бородою своей, он предложил мне с любезной улыбочкой:

– Хотите интересненькое поглядеть? У меня, на задворках, доктор живет, а к нему, на свидания, барыня одна, – не наша, приезжая – ходит. Я с чердака в слуховое окно гляжу, как они забавляются; окошко у них наполовину занавешено, и через верхнее стекло очень подробно видать забавы ихние. Я, даже, бинокль у татарина, по случаю, купил, и кое-когда приятелей приглашаю для забавы. Очень интересное распутство...

–

Парикмахер Балясин называет себя «градским брадобре-ем». Он – длинный, тонкий, ходит развернув плечи и гордо выпячивая грудь. У него голова ужа – маленькая, с желтыми глазами, взгляд ласково-недоверчивый. Город считает его умным человеком и лечится у Балясина более охотно, чем у земского доктора.

– У нас естество простое, а доктора – это для образованных людей, говорят горожане.

Парикмахер ставит банки, пускает кровь, недавно срезал пациенту мозоль, и пациент умер от заражения крови. Кто-то пошутил:

– Усердный лекарь; ему говорят: срежь мозоль, а он всего человека срезал с земли...

Балясина одолевает мысль о непрочности бытия.

– Я думаю – врут ученые, – говорит он. – Неизвестна им

точность ходов солнца. Я, вот, гляжу, когда солнышко заходит и думаю: а, вдруг, не взойдет оно завтра? Не взойдет и – шабаш! Зацепится за что-нибудь, – за комету, скажем, – вот и живи в ночи. А то – просто остановится по ту сторону земли, тут нам и крышка навечной тьмы. Надо полагать – у солнца тоже есть свой характер. Придется нам тогда для жизни, леса жечь, костры раскладывать.

Похохатывая, щуря глаза, он продолжает.

– Ха-арошее небо у нас будет тогда: звезды есть, а – ни солнца, ни месяца! Вместо месяца черный шарик будет торчать, коли верно, что месяц у солнца свет занимает. Как хошь, так и живи – ничего не видать. Для воров – удобно, а для всех других сословий – очень неприятно, а?

Однажды, подстригая мне волосы, он сказал:

– Ко всему люди привыкли, ничем их не испугаешь, ни пожарами, ничем. В иных местах – наводнения бывают, землетрясения, – у нас ничего! Холеры – и то не было, а кругом везде – холера. Человеку же хочется необыкновенного чего-нибудь, страшного. Страх для души, как баня для тела, очень здорово...

–

Одноглазый арендатор городской купальни, – он же – «картузник», делает фуражки из старых брюк, – человек, которого город не любит, боится. Встречая его на улицах, горожане опасливо сторонятся и смотрят вслед ему волками, а иной идет прямо на картузника, наклоня голову, точно со-

бираясь боднуть его. Тогда картузник уступает дорогу и сам смотрит в затылок дерзкого человека, прищутив глаз, усмехаясь.

– За что вас не любят? – спрашиваю я.

– Я – беспощадный, – хвастливо говорит он. – У меня такой навык, что я – чуть кто неправильно действует, – сейчас его к мировому тащу!

Белок его глаза воспален, пронизан сетью кровавых жилок и в этой сетке гордо сверкает рыжеватый круглый зрачек. Картузник коренастый, длиннорукий, ноги у него – колесом. Похож на паука.

– Действительно, – меня не уважают, потому как я права знаю, – рассказывает он, свертывая папиросу из махорки. – Чужой воробей в мой огород залетит – пожалуйста к мировому! Я из-за петуха четыре месяца судился. Даже сам судья сказал мне: ты, говорит, напрасно человеком родился, по характеру ты – овод! Даже били меня за мою беспощадность, однако бить меня – невыгодно. Бить меня – все равно, как железо каленое, только руки обожгешь. После битья я такое начинаю...

Он пронзительно свистнул. Он, действительно, кляузник, местный судья завален его жалобами и прошениями. С полицией картузник живет в дружбе; говорят, он любит писать доносы и ведет какую-то книгу, куда вписывает различные прегрешения горожан.

– Зачем вы делаете это?

Он отвечает:

– Потому что уважаю мои права!

–

Лысый, толстый Пушкарев, слесарь и медник – вольнодумец, атеист. Поджимая дряблые губы, странно изогнутые, цвета дождевых червей, он говорит сиплым басом.

– Бог, это – выдумка. Над нами ничего нет, только один синий воздух. И все наши мысли – от синего воздуха. Сине живем, сине думаем, – вот где загадка. Вся суть жизни моей, вашей – очень простая: были и сгнили.

Он – грамотен, много прочитал романов, особенно хорошо помнит один: «Кровавая рука».

– Там французский архерей взбунтовался и обложил войском город Ларошел. А против него действовал капитан Лакузон, – что делал, сукин сын! Даже слюнки текут, когда читаешь. Шпагой действовал он – без промаха, ткнет и – готов покойник! Замечательный воин...

Пушкарев рассказал мне:

– Сижу я, вот эдак же, вечером, праздник; читаю. Вдруг заявляется земский счетчик, – статистик, по ихнему: желаю, говорит, познакомиться с вами. Ну, что ж, говорю познакомьтесь. А сам – боком сижу к нему. Он и то, и се, – прикинулся я дураком, мычу и все гляжу в сторону, в стенку. – «Слышал я, – говорит, – что вы в бога не верите?» – Ну, тут я на него и вскинулся: «Это – как так? – говорю. – Разве это допускается? А церкви зачем, попы, монахи, а? А ежели я

в полицию заявлю, что вы меня к неверию склоняете?». – Испугался он: «Извините, – говорит, – я думал...» – «То-то, вот, – говорю, – думаете вы, о чем не надо. Мне эти ваши мысли не к чему» – Выкатился он от меня, как мячик. Потом, вскоре, застрелился. Не люблю я этих земских, – фальшивый народ. Сосут мужика, тем и живы. Некуда девать ученых этих, ну – наладили им земство. Читайте! Они считают. Человеку все едино, что делать, только жалованья ему побольше давай...

–

А часовщик Корцов, по прозвищу «Лягавая блоха», маленький, волосатый человечек с длинными руками, – патриот и любитель красоты.

– Нигде нет таких звезд, как наши, русские! – говорит он, глядя в небо круглыми глазами, плоскими, как пуговицы. – И картошка русская – первая, по вкусу, на всей земле. Или – скажем – гармонии, – лучше русских нет! Замки. Да – мало ли чем можем мы нос утереть Америкам этим.

Он сочиняет песни и, выпивши, сам поет их. Стихи его как будто нарочно надуманно нелепы, но песня, которую он поет чаще других, такова:

*Сиза птичечка, синичка,
Под окном моим поет,
Она маленько яичко
После завтрая снесет.
Я скраду яичко это,*

*Положу в гнездо сове,
Пусть, что будет, то и будет
Моей буйной голове.
Ах, к чему мне ночью снится,
Будто череп мой клюет
Та сова, ночная птица,
Что, одна, в лесу живет?*

Корцов поет эту песню на удалой, веселый мотив. А череп у него аккуратно кругл, совершенно гол, только от уха до уха, на затылке висит рыжеватая бахрома кудрявых волос.

Он любит восхищаться красотой природы, хотя окрестности города пустынно, вспухли бесплодными холмами, изрезаны оврагами, нищенски некрасивы. Но часовщик, стоя на берегу мутной, пахучей реки, отравленной войлочными заводами, восклицает с искренним чувством лирического восторга:

– Эх, красота же! Ширь, гладь. Иди, куда хошь. До-смерти люблю я эту красоту нашу!

Двор его дома грязен, густо зарос крапивой и репьем, забросан обломками дерева, железа, посреди двора гниет широкий диван, из его сиденья торчат клочья, волоса. В комнатах пыльно, неуютно, все сдвинуто с места, к цепям стенных часов привешен вместо гири кусок свинцовой трубы. Где-то в углу стонет и ворчит больная жена, а по двору молча шмыгает сестра ее, старая дева, желтая, худая, с оскаленными зубами; на ногах у нее опорки мужских сапог, подол подоткнут

до колен и обнажает икры ног в синих узлах вен.

Корцов изобрел замок, который заряжается тремя ружейными патронами и стреляет, если в него всунуть ключ. Замок весит двенадцать фунтов и имеет вид продолговатого ящика. По-моему, он должен стрелять в небеса, а не в того, кто решится отпереть его.

– Нет, прямо в морду угодит! – заверяет изобретатель.

Его любят как чудака. А, может быть, горожанам нравится, что он несчастливо играет в карты, – все обыгрывают его. Ему нравится сечь детей, – говорят, что сына своего он засекал до-смерти, но это не мешает знакомым приглашать Корцова, как знатока дела, для экзекуций над мальчишками, опустошающими сады и огороды.

–

Не спеша, заложив руки за спину, ходит по городу Яков Лесников, высокий, тощий, с длинной и узкой бородою и большим, унылым носом. Нечесанный, грязный, он одет в какой-то балахон, подобие монашеской рясы, на вихрах его полуседых и жестких волос торчит студенческая фуражка. Большие водянистые глаза напряженно вытаращены, как будто этого человека одолевает сон, а спать ему нельзя. Позевывая, он смотрит в даль, через головы людей и спрашивает встречных:

– Ну, – как?

Ответы, видимо, не интересуют его, да они, наверное, знакомы ему:

– Так себе. Ничего. Живем.

Он славится как женолюб и великий распутник. Корцов не без гордости говорил мне:

– Он даже с испанкой жил! Ну, а теперь, конечно, и мордовками не брезгует...

Говорят, что Лесников «незаконный» сын знатного лица – архиерея или губернатора. У него есть несколько десятин огородной земли и лугов, он сдает землю эту в аренду слобожанам и одиноко живет на квартире у моего соседа, большого чиновника казначейства.

Как-то вечером он валялся в саду на траве, под липой, пил пиво со льдом и рычал, зевал. К нему подошел домохозяин, худенький, кислотовато-любезный человечек в очках.

– Что, Яша?

– Скушно, – сказал Лесников. – Вот, – думаю – чем бы заняться?

– Поздно тебе заниматься делами...

– Пожалуй – поздно.

– Староват.

– Да.

Помолчали. Потом Лесников, не торопясь, проговорил:

– Очень скушно. В Бога, что ли, поверить?

Чиновник – одобрил:

– Это – не плохо. Все-таки – в церковь ходить будешь...

А Лесников, с воем зевнув, сказал:

– Во-от...

–

Зимин, торговец галантерейным товаром, хитрый мужик, церковный староста, сказал мне:

– От ума страдают люди, он всей нашей путанице главный заводчик. Простоты нет у нас, потеряли простоту. Сердце у нас – честное, а ум жулик!..

–

Сижу, глотая знойный воздух, вспоминая речи, жесты, лица этих людей, смотрю на город, окутанный горячей опаловой мутью. Зачем нужен город этот и люди, населяющие его?

Здесь Лев Толстой впервые почувствовал ужас жизни – «арзамасский», мордовский ужас, но – неужели только для этого жил и живет город от времени Ивана Грозного?

Я думаю, что нет страны, где люди говорили бы так много, думали так бессвязно, беспутно, как говорят и думают они в России, а особенно – в уездной.

Арзамасские мысли случайны и похожи на замученных мальчишками, полуоципаных птиц, которые иногда со страха залетают в темные комнаты, чтоб разбиться на-смерть о непроницаемый обман прозрачных, как воздух, стекол окна. Бесплодные «синие» мысли.

Подсматриваю я за этими людьми, и мне кажется, что прежде всего они живут глупо, а потом уже – и поэтому – грязно, скучно, озлобленно и преступно. Талантливые люди, но – люди для анекдотов.

С реки доносится шум и плеск воды, – прибежали мальчишки купаться. Но их мало в городе, большинство ушло в лес, в поле и овраги, где прохладно. В садах поднимается голубой дымок, это проснулись хозяйки и разжигают самовары, готовясь к вечернему чаю.

Пронзительно верещит тонкий голос девочки:

– Ой, ма-амонька, ой, родная, ой, не бей меня по животу-ку...

И – точно в землю ушел этот вопль.

Зной все тяжелее. Солнце как будто остановилось. Земля дышит сухим пыльным жаром. Кажется, что небо стало еще более непроницаемым, – очень неприятна и даже тревожна эта тусклая непроницаемость небес. Можно думать, что это не то небо, как везде, а – особенное, здешнее, плоское, отвердевшее, созданное тяжелым дыханием людей странного города. Мреет сизая даль, приобретая цвета стекла, выгоревшего на солнце, и, как будто становясь плотнее, она близится к городу прозрачной, но непроницаемой стеною.

Черненькими точками бестолково мелькают мухи, – это снова напоминает о непроницаемости стекла.

А тяжелое, горячее безмолвие – все гуще, тяжелее.

В тишине певуче звучит полусонный, разнеженный голос женщины.

– Таисья, – одевайся?

И такой же голос, но более низкий, томно отвечает:

– Одеваюся.

Молчание. И – снова:

– Таисья, ты – голубо?

– Я – голубо-о...ясь

ЗНАХАРКА

«Заметки из дневника воспоминания»

...На завалине ветхой избы сухонький старик Мокеев, без рубахи, греет изношенную кожу свою на ярком солнце июня, чинит бредень крючковатыми пальцами. Под кожей старика жалобно торчат скобы ключиц, осторожно двигаются кости ребер.

День – великолепен; честно работает солнце, отлично пахнет цветущая липа, в жарком воздухе – тихая музыка; гудят пчелы; во дни косьбы они трудятся, как будто, особенно упорно.

– Прохожий один сказывал, – сипит Мокеев, – дескать, человежье житье – благо, и выходит так, что не одни господа, а всяк человек, хоша бы и мужик, тоже – благородие. А мы говорим: благой, так это будет несуразен, буен, – нехорош, стало быть. У нас все – по-своему...

Он уже с полчаса упражняется в словесности, и его сиплое воркованье хорошо слито с тихим гулом пчел, с чириканьем воробьев, с песнями невидимых жаворонков. Из-за речки доносится звон кос, шарканье точильных лопаток, но все эти звуки не мешают слышать спокойную тишину синего благоуханно чистого, очень высокого неба. Все вокруг по-русски просто и чудесно:

– Князья-то, Голицыны-то, конечно – князи; тут как хошь дрягайся, оно так и будет – князи. Я и в начале внушал мужикам – бросьте, али князей пересудишь? А Иваниха натравила их, мужиков. Здорово, Иваниха!

Неслышно подойдя, с нами поровнялась коренастая баба в темном сарафане, в синем платке на уродливо большой голове, с палкой в одной руке, с плотной, лыковой корзиной – в другой; корзина полна пахучими травами, кореньями. С трудом приподняв тяжелую голову, баба глухо и сердито ответила:

– Здравствуй-ко, болтун...

Ее грубое мужское лицо, скуластое и темное, украшено седыми усами, исчерчено частой сетью мелких морщин, щеки ее обвисли, как у собаки. Коровьи глаза мутны, красные жилки на белках делают взгляд ее угрюмым. Пальцы левой руки непрерывно шевелятся. Я слышу сухой шорох их кожи. Указав на меня палкой, она спросила:

– Это кто?

Мокеев стал многословно объяснять, что я приехал от адвоката, по делу деревни с князьями Голицыными, что в воскресенье будет мирской сход, не дослушав его, старуха осторожно склонила голову и дотронулась палкой до моего колена.

– Зайди ко мне.

– Куда?

– Скажут. Через часок...

И пошла прочь, странно легко для ее возраста и тяжелого, неуклюжего тела.

С тою гордостью, с какой старики в деревнях рассказывают о своем, необыкновенном, Мокеев рассказал мне, что Иваниха – знахарка, известная всему уезду.

– Ты только не считай, что ведьма – нет, это у ней от Бога! Ее и в Пензю возили, девицу лечить безногу, дак она безногу эту сразу – замуж! И пошла, ведь, девица, пошла, братец мой. Дураки, говорит родителям ейным, детей, говорит, родите, а – для че, не знаете. А родители – пребогатые фабриканты. Скота, человека, даже гуся, куру, – она всех лечит, ей все едино. В Нижний требовали: обмер там чей-то мальчик и лежит, недели две лежал, хоть в землю закопать. А она ему где-то иглой уколола, дак он к потолку взвился, мальченко-то, ей за то – двадцать пять рублей да шерстяное платье – получи!

– У нас она – первый человек, ее и на сходе уважают, слушают, даже становой боится. Она ему три зуба выдрала с корнями, дак корни те по вершку оказались, и с крючьями на концах. Никто не мог выдрать их, а она – все может. Она – бесстрашной жизни и всем тайностям владыка. Взглянет на тебя, да как спросит, внезапно: ты чего думаешь? Дак ты ей тут, в душу твою, как дверь отворишь: на, гляди!

Мокеев начал говорить с хвастливой гордостью, но скоро, понизив сипучий, старческий голосок, он сказывал уже со страхом. Крючковатые пальцы его, запутавшись в нитях

невода, перестали работать, бессильно легли на острые колени.

Я узнал, что Иваниха – дочь некрещеного мордвина, охотника на медведей и колдуна, убитого во время мордовского движения сороковых годов.

– Отец-то ее самому Кузьке, мордовскому богу², бунтарю, приятелем был...

После смерти отца Иваниха осталась подростком-сиротой, ее окрестили, когда она была уже взрослой девицей, и вскоре после этого на ней женился лесник. Три года она бездетно прожила с ним, а на четвертый, весной, лесника задрал медведь. Иваниху оставили в лесной сторожке, и она начала бить медведей, – леса Сергача славились обилием этого зверя и до семидесятих годов XIX века мужики «сергачи» были лучшими дрессировщиками и «поводырями» медведей на всю Россию. Била Иваниха зверя «по-мордовски»: обкладывала правую руку лубками, окручивала ее до плеча сыромятным ремнем, в кисть брала нож, а в левую руку короткую, вроде тямки, секиру. Когда зверь шел на нее, разинув пасть, она била его тямкой по лапам и, сунув нож в пасть, вспарывала горло медведю.

– Эдак только мордва била медведей, это требует силы зверячьей. Семнадцатый зверь все-таки ребро ей вышиб, а

² В 50-х годах XIX столетия мордвин Кузьма пытался развить культурно-национальное движение среди мордвы – Мокши и Ерзи, – населяющей Нижегородскую губернию.

тридцать который-то шею свернул ей несколько, – видал ты, как неладно она шейей владеет? От этого. До сорокового зверя она не дошла, забоялась, сороковой медведь – сроковой, судьбинный охотнику, редкие от него уходят живы. Это все-му миру известно, – сороковому медведю указан срок жизни охотника.

– У меня, годов с двадцать назад время, жил один индей, знаменитый охотник, из столицы наехал, дак у него ружья были и двустволки и всякие, и рогатины, и ножики страшенные, а сороковой ничем не постеснился, ободрал ему ухо и бороду, вместе со щекой.

– Почему – индей? Так уж родился, чин у него был – граф, а родом он индей, такой народ есть за Каспийским морем. Там их много живет; волосом синеваты и пьяницы. Персияне? Нет, это другой народ, эти нам подвластны, вроде бы пленные наши, как татары, али – чуваша, мордва, а индей вольный народ, люди самобытного царя. Им, индейцам, полагается золотой зуб во рту, для отлички от других людей. Народ – важный, басовитый. Девочек индей этот перепортил у нас за зиму, весну, штук пять, не мене. После увезли его лечить. Без бороды у них не допускается жить, стыдно, тем они и похожи на нас, а во всем ином – народ своего обычая. Звали-то его как? А звали его – Федор Карлыч. Ха-ароший барин...

Мокеев говорил точно с горы ехал извилистой дорогой и, вероятно, кончил бы речь не раньше ночи, но мне показалось – час истек, и я спросил: где живет Иваниха?

– А во-он-те, избеночка аккуратная на отшибе. Такого дела люди завсегда в сторонке живут...

Когда я подошел к чистенькой избе Иванихи, в открытых воротах стоял воз свежескошенной травы, ось телеги задела за вереву, белоголовый подросток тужился попятить буланую лошадь и не успевал в этом. Иваниха, стоя на крыльце, мыла руки, под глиняным рукомойником, сердито покрикивая.

– Выпряги! Выпряги, говорю...

Парнишка молча бил лошадь по морде и шипел. Старуха сошла с крыльца, быстро выпрягла коня, приподняла оглобли, наклонилась, упираясь в землю чугунными ногами, вытолкнула телегу на аршин за ворота, ловко обернулась, впряглась в оглобли и легко вкатила телегу во двор, сказав:

– Неслух. Дурак.

– Дак у тея – сила, – обиженно отозвался парнишка, уводя лошадь под поветь.

– Мне – семой десяток. На что годитесь, баловни?

Увидав меня, испытующе смерила взглядом и пригласила:

– Пожалуй-ко, в избу-то...

Вечернее солнце пристально смотрело в открытые окна избы; на чисто вымытом полу катались пушистые котята; аромат сухих трав наполнял светлую комнату, в переднем углу фыркал паром чистенький самовар. У печи, на полках блестяли бутылки, стеклянные банки, жестяные коробки из-под сардин. Под полатями висели пучки трав: зверобой, буквица, медвежья капуста – некрасивое растение сырых мест,

корешки бодяги, болиголова и какие-то сучья в маленьких связках.

Купечески держа блюдце на растопыренных пальцах, Иваниха спрашивала:

– Что в городе говорят? Земли-то мужикам дадут ли? Смотрите – сердятся мужики. Сказал бы ты Голицыным-то, – чего они? Девять лет судятся бесстыдно, а толку ни себе, ни людям. Мотают мужиков. Будто волю дали, а где она, воля? Повесили мужиков над землей, толкутся они как мошки, вот и вся воля.

Ее темное лицо с тряпичными щеками угнетающе безобразно. Кровавые глаза смотрят в блюдечко, на верхней губе шевелятся мокрые, белые усы, на шее, под левым ухом, волосатая бородавка. Иваниха грызет сахар, чмокает и ничто, кроме высоко вспухшей груди, не напоминает в ней женщину.

Я осторожно выспрашиваю ее, как она била медведей, она отвечает неохотно и как бы нарочито углубляя глухой, ворчливый голос.

– Сильна была. Меня в те поры только два мужика могли одолеть во всей округе. Кроме мужа. Да и мужа я поборола бы, только – нельзя: муж. Шутя я его и борол, а всерьез – нельзя, не смела этого. Тут у нас мужик лесной, крепкий.

Вспотев, она сняла платок с головы и в жесткой гриве ее волос обнажились толстые седые пряди. Вытерла платком иссеченное морщинами лицо и окутала им надломленную

шею. Ладони рук ее были емки, точно ковши, пальцы же непрерывно шевелились, как бы разбирая, распутывая моток пряжи. Это было неприятно видеть. И вся Иваниха как-то нечеловечески тяжела.

О сороковом медведе она сказала:

– Медведь – зверь – богу служит. Кереметь на медведях в небе ездит, солнце возит. Солнце-то большое, с хороший пруд, тяжелое, все из чистого золота. Люди тоже богу нужны. Пчела служит человеку, человек – богу. Кереметь сказал: бей медведя, покуда я терплю, побьешь много – солнце встанет, помни! Тогда пошлю на тебя сильного, он тебя убьет. Человек согласился: человеку скота жалко. Меды жалко, овсы. Медведь много портит.

Почесав концом ножа кожу на голове, она плюнула на ладонь и, пригладив слюною взбитые волосы, устала в лицо мне свой мутный, подавляющий взгляд. Нос у нее широкий, ноздри вывернуты, как у верблюда.

– Вот, тебе, молодому, надо знать: баба есть такая, как сороковой медведь. С тремя любишься – ничего, и с девятью – ничего, а встанет на пути твоём четвертая, или там седьмая и – конец тебе. Приворожит, привяжет, кроме ее нет у тебя свету, будешь жить, как слепой. Это – судьбинная баба, ее Кереметь в наказание посылает. Богу – детей надо, людей. А когда одна голая игра, без детей, это он не любит. Не надо это ему...

– Вы в церковь ходите? – спросил я. Она как будто удиви-

лась, отвечая угрюмо:

– Мы ходим. Зачем не ходить? У нас церковь хорошая, князьями строена. И поп хороший, умный. Его пчела любит. Мы тут смирно живем, хорошо. Леса округ.

Котята влезли ей на колени, она сгребла огромной лапой своей двух, подняла зверков к лицу, спросила:

– Ну, что?

И, налив молока в свое блюдо, тут же, на столе, сунула им блюдечко, – этого не сделала бы простая баба.

– Лакайте. А третий где? Братишка?

Братишка грыз мой сапог, я поднял котенка и поставил его на стол.

– Это, вот, умные звери, они никому не верят, – сказала Иваниха. – И память у них крепка: побей его, он это помнит. Через пять лет вспомнит, когда и не ждешь. А у людей память слаба: не помнят они, кто их бьет...

Сильно завечерело, уже пригнали стадо, по улице шли мужики, плыли мимо окон косы, отражая красноватый, заревой свет, в окна заглядывали бабы.

– Ну, надо мне сходить в улицу, – сказала Иваниха. – Ты почто остановился у Мокеева? Это семья несчастливая. Ты, вдругорядь, у меня остановись. Я заезжих люблю.

И провожая меня за ворота, крикнула какой-то бабе:

– Марь, ногу перевязала?

– Ой, матушка, неколи...

– Дура. Не тронь уж, я сама...

После ужина Мокеев, позвав меня на реку ставить верши, дорогой рассказал, что Иваниха еще недавно, лет десять тому назад, занималась обучением парней технике любви.

– Пятак брала, али фунт баранок, – она баранки любит с анисом. Сначала – смеялись над ней, после – привыкли. А она ругалась; дураки, кричит. Это у нее первое дело, дураком ругать. За лошадьми, кричит, следите, за коровами следите, скот жалеете, а девок не жалеете? Это, она, пожалуй, верно кричала. Парни – медведи, делу этому у собак, у скотов глазами учатся, а женятся – и начнут девок зря ломать, ничего не умеют. Иной с первого разу жену испортит, а после бьет, – не сладка, не охоча...

Светила луна, в воздухе стоял густой, влажный запах свежескошенной травы. Старик запнулся за обнаженный корень дерева, выругался крепко, потом призвал бога и, прихрамывая, перескочил к другому рассказу.

– Ее боятся, Иваниху. Почитают. Она, брат, ух, какая. Прямо скажу...

Подумав, он сказал:

– Полезная. Хотели ее из лесу, из сторожки прогнать, чиновник приехал, гонит и гонит. Нет, говорит, ни моды такой, ни закону, чтобы лес сторожила баба. Никогда, говорит, не было этого. Ему докладывают: да она хоть и баба, а страшнее лешего. Не верит. Так она сама пошла на него, как на медведя, обернула кожей руку, нож взяла, все, как надо. Тут он испугался: ну-те, говорит, к лешему! В Сибирь бы, гово-

рит, надо тебя, чорта! Так она и осталась сторожихой, а после сама ушла из лесу, на ее место кум Яков вступил, его в ту же зиму пьяного волки сожрали. Край у нас хороший, тихий край, – заключил старик, несколько неожиданно, а все же с полным убеждением.

Ласково, осторожно выходила из лесов ночь, покрывая луга и поля теплыми тенями, тишина замерла над синей, ленивенькой речкой, и вокруг луны, как пчелы над цветком, сверкали звезды...

...Месяца через три, в праздничный день мне снова довелось быть в Березянке. Я остановился у Иванихи, собрал мужиков, рассказал им, насколько за это время подвинулось их дело, и осенним вечером, сидя со старухой за чаем, слушал ее речи. Она рассказывала о событиях лета, о пожаре, уничтожившем, по счастью, только три избы, о том, кто чем болел, кто кого избил, о людях, объевшихся грибами, о девочке, которая чего-то испугалась в лесу и обезумела.

– Сидит на печи, в темном уголку и поет днем, ночью: мамонька, бежим, родная, бежим!

Потом, шевеля пальцами, спросила строго:

– Про землю-то не решили там, у вас?

И когда я ответил: нет еще, она, недоверчиво взглянув на меня, посоветовала:

– Ты не скрывай. Гляди, болеют мужики об земле...

За окном ветер тряс деревья, хлестал в стекла дождем, гудел в трубе, деревню удушливо обняла осенняя, русская ску-

ка, та скука, тоскливей которой только безнадежная, смертельная болезнь.

Мне хотелось спросить знахарку о Керемети: какой это бог? И когда она, кончив пить чай, перемыв и убрав посуду, села к столу вязать чулок, я осторожно начал выпрашивать.

Неприятно поджав толстые губы, быстро шевеля пальцами, поблескивая сталью спиц, она отвечала неохотно, верблужьи ноздри ее съжились, и темный нос стал острее.

– Я не поп, бога не знаю, – говорила она.

– А Кереметь – хороший бог?

– Бог – не лошадь, по зубам не узнаешь. Не взглянешь ему в зубы-то...

Она долго отвечала так сердито и сдержанно, но мне удалось какими-то словами задеть ее и, раздув ноздри, обнажив зеленоватые зубы овцы, еще быстрее перебирая спицы, она заворчала раздраженно:

– Что ты стучишь, как бондарь – бог, бог? Человека нельзя отдавать богу, как девку старику, нельзя насильно тащить к богу. Не семья будет. Правды не будет.

С удивлением я заметил, что старуха строит речь свою как будто не по-русски, хотя вообще она говорила сочно и складно. Резким жестом она дернула платок на голове, лоб ее стал выше, а из-под мохнатых бровей на меня внушительно уставились другие глаза – светлее, меньше. И все мятое лицо ее тоже стало меньше, тверже.

– Ваш бог веру любит, Кереметь – правду, – говорила

она. – Правда выше веры. Кереметь знает: бог с человеком в дружбе – будет правда! Человечья душа – его душа, он ее чорту не даст. Ваш бог, христос, ничего не хочет, только веры хочет. Кереметь – человека хочет, он знает: бог с человеком – правда, а один бог – это неправда. Он – бережливый. Зверя, рыбу, пчелу – это он дает человеку. Землю дает. Он человеку пастух. Не поп пастух, бог пастух. А у вас – поп. Христос говорит: верь, а Кереметь: делай правду! Сделаешь – друг мой будешь. За деньги правду не сделаешь. Попы – деньги любят. Они христа с Кереметью сравили, как собак, дерутся оба, сердятся, ваш – на нас, наш – на вас.

Она перестала вязать чулок, бросив на стол шерсть и спицы, и, шлепая губами, говорила глухо, угрюмо:

– Мордва не люди стали, кому верить – не знают. И вы – не люди. Кереметь сердит на вас, мешает жить, оба они мешают, один – вам, другой нам. Злые оба. Бог человеком питается, а человек стал тоже злой, горький стал...

Посветлевшие глаза старухи блестели укоризненно и жестко, она становилась все меньше похожа на русскую, и что-то властное звучало в ее словах. Медленно разгибая сломанную шею, она точно намеревалась ударить меня головою, и это было так неприятно, что я выпрямился на стуле. И все чаще встречались в ее речи слова, чужие мне, мордовские слова. Мое движение, видимо, несколько успокоило ее, она схватила чулок со стола и снова быстро замелькали спицы. Помолчав, она заговорила тише:

– Бог злой, человек злой, поп хуже всех злой. Людей надо разделить честно: тех – этому богу, этих – тому. Тогда боги будут жить дружно. У каждого свое стадо. Хорошие хозяйева враждой не живут. Вы говорите: «бог правду любит, да не скоро скажет» – зачем не скоро? Знаешь – сейчас скажи! Кереметь знает: правда – лучше веры. Он говорил, а когда его травить стали – замолчал. Обиделся, – живите без меня. Это плохо нам. Это чорту – хорошо...

Ко мне пришли мокрые мужики; отфыркиваясь, вытирая ладонями бороды, они уселись на лавку и повели осторожную беседу о городе, о земле, нащупывая: нет ли каких признаков, что жизнь станет легче? Не нащупали.

А когда они, тяжело вздыхая, ушли, Иваниха попросила меня:

– Ты не сказывай в городе, как мужики говорили. Губернатору не сказывай, пожалуйста...

Спать она легла на печи, а я на полотах, в душном запахе сушеных трав.

Среди ночи меня разбудил визг ветра в трубе и тяжелый, булькающий шопот. Осторожно взглянув с полатей вниз, я увидел, что Иваниха, стоя на коленях, молится. Сверху она казалась бесформенной грудой чего-то серого, угловатого, похожего на камень. Ее необыкновенный глухой голос странно булькал, – казалось, это яростно кипит вода или полощут горло. Потом из этого кипения возникли странные сочетания слов.

– Ая-яй, христос, ая-яй... Стыдно, христос... Илья сердится, ты сердишься, Кереметь тоже. Ты – сильный, за тобой идет много людей. Тебе надо быть добрым. Кто будет добрый к людям, когда бог злой? А-я-яй, христос! Ты слушай меня, слушай, я много знаю! Бабы твои мучаются, мужики мучаются, зачем? Э-ех...

Не крестясь, она размахивала руками, то простирая их к темным пятнам икон, то прижимала к бедрам, или била ладонями по грудям. И все шептала глухо, но горячо упрекая, захлебываясь словами:

– Кереметь попы твои гонят, ох! Как можно? Кереметь – хуже тебя разве? Э-э, плохо, христос! Бог бога гонит – чему учит людей? Ох, ты, христос, нехороший бог, завистлив ты, злой, не человеческий ты бог, нет! Трудно людям с тобой. Что делаешь? Иван – зачем помер молодой? Мишка, – одно дитя, такой светлый Мишка – зачем? Корова Гусевых пала, ай-ай-яй! Не жалко тебе своих, а? Чужих ты уж не пожалеешь, нет! Ой, плохо. Кому служишь, христос? Каким людям служишь, а? Вот я, баба, людям служу, твоим помогаю, и татарам, и чуваше, – мне все равно, видишь? А ты – кому? Поп твой говорит: ты – для всех, а ты и своих не любишь, нет. Стыдно тебе, ох, не так надо. Я правду говорю: эй, стыдно тебе! Смотри на твои люди хорошие люди, а как живут? Э, – христос! Ты знаешь: бог живет хорошо, когда слушает людей, люди – когда бога слушают. Ты слушай меня, я говорю не плохо, я правду говорю, ты понимай: богу надо знать правду

лучше людей, а я, человек, старуха, знаю правду лучше тебя, прежде тебя знаю, э-эх, ты, христос...

Так она укоряла христа долго; очень жутко гудел ее глухой голос, кипящие слова, булькая в горле ее, звучали то жалобно, то горько и гневно.

Тонкими плетями хлестал дождь по соломе крыши, тонко и зло взвизгивал ветер, приглушая сердечную жалобу человека...

На рассвете я уехал из деревни и увез в памяти моей одну из лучших бесед человека с богом, – может быть, самую лучшую из всех, какие довелось слышать мне.

– Э, христос...

ПАУК

«Заметки из дневника воспоминания»

Ермолай Маков, старик, торговец «древностями», человек длинный, тощий и прямой, как верстовой столб. Ходил он по земле, как солдат на параде, смотрел на все огромными глазами быка, в серовато-синем, мутном блеске их было что-то унылое и тупое. Он казался мне глупым, в этом особенно убеждала меня своенравная и капризная черта его характера: принесет продавать чернильницу подьячего, жалованный ковш целовальника или древнюю монету, упорно торгуется, продаст – и вдруг могильным голосом скажет:

– Нет, не хочу.

– Почему?

– Охоты нет.

– Зачем же ты целый час болтал зря?

Он молча сунет вещь в бездонный карман своей поддевки, вздохнет тяжело и уходит, не простясь, как будто крепко обиженный. Но через день, а иногда – через час, неожиданно является, кладет вещь на стол:

– Бери.

– А что ж ты прошлый раз не продал?

– Охоты не было.

Он был не жаден на деньги, по многу давал нищим, а к

себе относился небрежно: ходил зиму и лето в старенькой, на вате, поддевке, в теплом измятом картузе, в худых сапогах. Жил – бездомно, переходя от поместья в поместье из Нижнего в Муром, из Мурома в Суздаль, Ростов, Ярославль – и снова является в Нижнем, всегда останавливаясь в грязных «Номерах» Бубнова; их населяли торговцы канарейками, шулера, сыщики и всевозможные искатели счастья; – они искали его лежа на продавленных диванах, в облаках табачного дыма. Среди этого человеческого мусора Маков пользовался особым вниманием как «ходовой» человек и хороший рассказчик; рассказывал же он всегда о том, как разрушаются – «хизнут» – старые «дворянские гнезда». Говорил он об этом с глухой, унылой злобой, особенно густо и настойчиво подчеркивая легкомыслие помещиков:

– Шары гоняют. Очень любят они шары гонять деревянными молотками, игра такая. И сами, как шары эти, стали, – совсем бессмысленно катаются туда-сюда по земле.

Однажды, туманной ночью осени, я нашел Макова на пароходе, по дороге в Казань. Едва шевеля колесами, пароход слепо и осторожно сползал, сквозь туман, по течению; в серой воде и сером тумане расплывались, таяли его огни, глухо и непрерывно ревел гудок; было тоскливо, как в тяжелом сне. Маков сидел на корме, одиноко, точно прячась от кого-то. Мы разговорились – и вот, что он рассказал:

– Двадцать третий год живу я в неизбывном страхе и нет мне спасения от него. А страх мой, сударь, особый: вселена

в плоть мою чужая душа. Было мне, сударь, тридцать годов и водился я с одной бабой, не иначе, как – ведьмой. Муж у нее – приятель мой – был добрый человек, а больной, умирал. И в ночь, когда помер он, а я – спал, бабенка эта окаянная изняла из меня мою душу, а его душеньку заключила в мою плоть. Ей было выгодно это, муж-от был ласковее меня к ней, треклятой. Помер он, и – сразу стало мне заметно: не тот я человек. Бабу эту, прямо скажу, не любил я, просто – баловался с нею, а тут вижу: влечется к этой бабе душа моя. Как же это? Неприятна женщина мне, а оторваться от нее – не могу. Все мои отличные качества дымом исчезли, нудит меня неведомая грусть, стал я робок с ней и вижу: серовато все вокруг, как золой опылено, а баба эта – лицо огня! Играет со мною, зализывая меня во грех, по ночам. Тут и понял я: подменила она душу мне, чужой душой живу. А – моя-то, настоящая-то моя, богом данная мне – где же? Испугался я...

Тревожно гудел гудок, глухой гул его упирался в туман, пароход, точно ущемленный, ворочал кормою, урчала и плескалась вода под нею, темная и жирная, как смола. Старик, прислонясь спиною к борту, передвигал ноги в пудовых сапогах, нелепо шарил руками вокруг себя и тихонько говорил:

– Испугался я, пошел на чердак, изделал петлю, привязал к стропилу, углядела меня прачка, зашумела – вынули из петли. И после того очутилось около меня несообразное

существо: шестиногий паук, величиной с небольшого козла, бородат, рогат, с женскими титьками, о трех глазах, два ока в голове, а третье – меж грудями, вниз, в землю глядит, на мои следы. И куда ни иду, он, невступно, за мной перебирается, мохнатый, на шести ногах, вроде бы тени лунной, и никому его не видать, кроме меня, – вот он здесь, а ты его не видишь, вот он!

Протянув руку влево от себя, Маков погладил что-то в воздухе, на высоте вершков десяти от палубы; потом, вытирая руку о колено, сказал:

– Мокрый.

– Что же ты, так двадцать лет и живешь с пауком? – спросил я.

– Двадцать три. Ты думаешь – безумен я? Вот ведь, стража моя, вот он прихилился, паук-от...

– А с докторами не говорил ты о нем?

– Полно-ка, сударь, что тут доктор может? Ведь это не нарыв, ножиком не отрежешь, микстуркой не вытравишь, мазями не затрешь. Доктор его не видит, паука-то.

– Говорит с тобой паук?

Маков удивленно взглянул на меня и спросил:

– Смеешься, что ли? Как же паук говорить может? Он мне для страха дан, чтоб я собой не располагал, не погубил бы чужую душу. Ведь душа-то во мне чужая, вроде бы – краденая. Лет десяток назад тому задумал я утопиться, – бросился с баржи в воду, а он, паук, вцепился лапами в борт, да и в

меня, я и повис за бортом. Ну, притворился я, будто нечаянно за борт упал. После матросы говорят: поддевка удержала меня, зацепилась за что-то. А, – вот она, поддевка-то, какая поддела меня...

Старик снова погладил, потрогал рукою влажный воздух.

Я молчал, не зная, что сказать человеку, который живет бок-о-бок с таким странным созданием воображения своего, живет, а – не совсем безумен.

– Давно я хотел потолковать с тобой про этот случай, – говорил он тихо и просительно. – Ты говоришь обо всем смело, верю я тебе. Скажи мне, сделай милость, как, по-твоему: от бога паук этот охрана мне, али от дьявола?

– Не знаю.

– Подумал бы ты... Я полагаю – от бога, это он охраняет, бережет чужую душу во мне. Ангела приставить не захотел, не достоин я ангела. А, вот, паук, – это умнее. Страшный, главное. Долго не мог я привыкнуть к нему.

Сняв картуз, Маков перекрестился и сказал тихонько, воодушевленно:

– Велик и благодетелен бог наш, господин и отец разума, пастырь душ наших.

...Через несколько месяцев, лунной ночью, я встретил Макова на одной из глухих улиц Нижнего-Новгорода, он шел по тротуару, прижимаясь к заборам, как бы уступая дорогу кому-то.

– Что – жив паук?

Старик усмехнулся, наклонясь, провел рукою по воздуху и ласково сказал:

– А – вот он...

Спустя три года, я узнал, что в 1905 г. Макова ограбили и убили где-то около Балахны.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Очень памятливы мне вечера в маленькой, чистой комнатке с бревенчатыми стенами. Окна плотно закрыты ставнями; на столе, в углу, горит лампа, перед нею крутолобый, гладко остриженный человек с большой бородою, он говорит спокойно:

– Суть жизни в том, чтобы человек все дальше отходил от скота...

Трое мужиков слушают внимательно, у всех – хорошие глаза, умные лица. Изот сидит всегда неподвижно, как бы прислушиваясь к чему-то отдаленному, что слышит только он один; Кукушкин вертится, точно его комары кусают, а Панков, пощипывая светлые усики, соображает тихо:

– Значит, все-таки была нужда народу разбиться на сословия.

Мне очень нравится, что Панков никогда не говорит грубо с Кукушкиным, батраком своим, и внимательно слушает забавные выдумки мечтателя.

Кончится беседа, – я иду к себе, на чердак и сижу там, у открытого окна, глядя на уснувшее село и в поля, где непоколебимо властвует молчание. Ночная мгла пронизана блес-

ком звезд, тем более близких земле, чем дальше они от меня. Безмолвие внушительно сжимает сердце, а мысль растекается в безграничии пространства, и я вижу тысячи деревень, так же молча прижавшихся к плоской земле, как притиснуто к ней наше село. Неподвижность, тишина...

Мглистая пустота, тепло обняв меня, присасывается тысячами невидимых пиявок к душе моей, и, постепенно, я чувствую сонную слабость, смутная тревога волнует меня. Мал и ничтожен я на земле...

Жизнь села встает предо мною безрадостно. Я многократно слышал и читал, что в деревне люди живут более здорово и сердечно, чем в городе. Но – я вижу мужиков в непрерывном, каторжном труде, среди них много нездоровых, надорвавшихся в работе и почти совсем нет веселых людей. Мастерские и рабочие города, работая не меньше, живут веселее и не так нудно, надоедливо жалуются на жизнь, как эти угрюмые люди. Жизнь крестьянина не кажется мне простой, – она требует напряженного внимания к земле и много чуткой хитрости в отношении к людям. И не сердечна эта, бедная разумом жизнь, – заметно, что все люди села живут ощупью, как слепые, все чего-то боятся, не верят друг другу, – что-то волчье есть в них.

Мне трудно понять, за что они так упрямо не любят Хохла, Панкова и всех «наших», – людей, которые хотят жить разумно.

Я отчетливо вижу преимущества города: его жажду сча-

стыя, дерзкую пытливість разума, разнаобразіе яго цэлей і задач. І заўсёды ў такія ночы мне ўспамінаецца двое горожан:

«Ф. Калугін і З. Небей.

«Часовых дел мастера, а также принимают в починку разные аппараты, хирургические инструменты, швейные машины, музыкальные ящики всех систем и прочее».

Эта вывеска помещается над узенькой дверью маленького магазина. По сторонам двери – пыльные окна. У одного сидит Ф. Калугин, лысый, с шишкой на желтом черепе и с лупой в глазу; круглолицый, плотный, он почти непрерывно улыбается, ковыряя тонкими щипчиками в механизме часов, или что-то распевает, открыв круглый рот, спрятанный под седую щеткой усов. У другого окна – З. Небей, курчавый, черный, с большим, кривым носом, с большими, как сливы, глазами и остренькой бородкой; сухой, тощий, он похож на дьявола. Он тоже разбирает и слаживает какие-то тоненькие штучки и, порою, неожиданно кричит басом:

– Тра-та-там, там, там!

За спинами у них хаотически нагромождены ящики, машины, какие-то колеса, аристоньы, глобусы; всюду на полках – металлические вещи разных форм, и множество часов качают маятниками на стенах. Я готов целый день смотреть, как работают эти люди, но мое длинное тело закрывает им свет, они строят мне страшные рожи, машут руками – гонят прочь. Уходя, я с завистью думаю:

– Какое счастье уметь все делать!

Уважаю этих людей и верю, что они знают тайны всех машин, инструментов и могут починить все на свете. Это – люди!

А деревня не нравится мне, мужики непонятны. Бабы особенно часто жалуются на болезнь; у них что-то «подкатывает к сердцу», «спирает в грудях» и постоянно – «резь в животе», – об этом они больше и охотнее всего говорят, сидя по праздникам у своих изб или на берегу Волги. Все они страшно легко раздражаются, неистово ругая друг друга. Из-за разбитой, глиняной корчаги, ценою в двенадцать копеек, три семьи дрались кольями, переломили руку старухе и разбили череп парню. Такие драки почти каждую неделю.

Парни относятся к девицам откровенно цинично и озорничают над ними: поймают девок в поле, завернут им юбки и крепко свяжут подола мочалой над головами. Это называется «пустить девку цветком». По пояс обнаженные снизу девицы визжат, ругаются, но, кажется, им приятна эта игра – заметно, что они развязывают юбки свои медленнее, чем могли бы. В церкви за всенощной, парни щиплют девицам ягодицы, – кажется, только для этого они и ходят в церковь. В воскресенье поп с амвона говорил:

– Скоты! Нет разве иного места для безобразия вашего?

– На Украине народ, пожалуй, более поэт в религии, – рассказывает Ромась, – а здесь, под верою в Бога, я вижу только грубейшие инстинкты страха и жадности. Такой, знаете, искренней любви к Богу, восхищения красотой и силой его –

у здешних нет. Это, может быть, хорошо: легче освободятся от религии, она же – вреднейший предрассудок, скажу вам.

Парни хвастливы, но – трусы. Уже раза три они пробовали побить меня, застигая ночью на улице, но это не удалось им, и только однажды меня ударили палкой по ноге. Конечно, я не говорил Ромасю о таких стычках, но, заметив, что я прихрамываю, он сам догадался в чем дело.

– Эге, все-таки – получили подарок? Я ж говорил вам.

Хотя он и не советует мне гулять по ночам, но, все же, иногда я выхожу огородами на берег Волги и сижу там, под ветлами, глядя сквозь прозрачную завесу ночи вниз и за реку, в луга. Величественно медленное течение Волги, богато позолоченное лучами невидимого солнца, отраженными мертвой луною. Я не люблю луну, в ней есть что-то зловещее и, как у собаки, она возбуждает у меня печаль, желание уныло завывать. Меня очень обрадовало, когда я узнал, что она светит не своим светом, что она мертва и нет, и не может быть жизни на ней. До этого я представлял ее населенной медными людьми; они сложены из треугольников, двигаются как циркули и уничтожающе, великопостно звонят. На ней все – медное: растения, животные, – все непрерывно, приглушено звенит, враждебно земле, замышляет злое против нее. Мне было приятно узнать, что она – пустое место в небесах, но, все-таки, хотелось бы, чтоб на луну упал большой метеор, с силою, достаточной для того, чтоб она, вспыхнув от удара, засияла над землей собственным светом.

Глядя, как течение Волги колеблет парчевую полосу света и, зарожденное где-то далеко во тьме, исчезает в черной тени горного берега, – я чувствую, что мысль моя становится бодрее и острее. Легко думается о чем-то неуловимом словами, чуждом всему, что пережито днем. Владычное движение водной массы почти безмолвно. По темной, широкой дороге скользит пароход чудовищной птицей в огненном оперении, мягкий шум течет вслед за ним как трепет тяжелых крыльев. Под луговым берегом плавает огонек, от него по воде простирается острый красный луч – это рыбак лучит рыбу, а можно думать, что на реку опустилась с неба одна из его бесприютных звезд и носится над водою огненным цветком.

Вычитанное из книг развивается в странные фантазии, воображение неустанно ткет картины бесподобной красоты, и точно плывешь в мягком воздухе ночи вслед за рекою.

Меня находит Изот, – ночью он кажется еще крупнее, еще более приятен.

– Ты опять тут? – спрашивает он и, садясь рядом, долго, сосредоточенно молчит, глядя на реку и в небо, поглаживая тонкий шелк золотистой бороды.

Потом – мечтает:

– Выучусь, начитаюсь, – пойду вдоль всех рек и буду все понимать! Буду учить людей. Да! Хорошо, брат, поделиться душой с человеком. Даже бабы, – некоторые, – если с ними говорить по душе – и они понимают! Недавно одна – сидит

в лодке у меня и спрашивает: а что с нами будет, когда по-
пррем? Не верю – говорит – ни в ад, ни в тот свет. Видал?
Они, брат, тоже...

Не найдя слова, он помолчал и, наконец, добавил:

– ...живые души...

Изот был ночной человек. Он хорошо чувствовал красоту,
хорошо говорил о ней, – тихими словами мечтающего ребен-
ка. В Бога он веровал без страха, хотя и церковно, представ-
лял его себе большим, благообразным стариком, добрым и
умным хозяином мира, который не может побороть зла толь-
ко потому, что не поспевает он, больно много человека раз-
родилось. Ну – ничего, он – поспеет, увидишь. А вот Христа
я не могу понять – никак. Ни к чему он для меня. Есть Бог,
ну, и – ладно. А тут – еще один. Сын, говорят. Мало ли что
– сын. Чай Бог-то не помер...

Но чаще Изот сидит молча, думая о чем-то, и лишь порою
говорит, вздохнув:

– Да, вот оно как...

– Что?

– Это я про себя...

И снова вздыхает, глядя в мутные дали...

– Хорошо это – жизнь.

Я соглашаюсь.

– Да, хорошо!

Могуче движется бархатная полоса темной воды; над
нею изогнуто простерлась серебряная линия Млечного пути,

сверкают золотыми жаворонками большие звезды; и сердце тихо поет свои неразумные думы о тайнах жизни.

Далеко над лугами из красноватых облаков вырываются лучи солнца, и вот оно распустило в небесах свой павлиний хвост.

– Удивительно это – солнце! – бормочет Изот, счастливо улыбаясь.

Яблони цветут, село окутано розоватыми сугробами и горьким запахом, он проникает всюду, заглушая запахи дегтя и навоза. Сотни цветущих деревьев, празднично одетые в розоватый атлас лепестков, правильными рядами уходят от изб села в поле. В лунные ночи, при легком ветре, мотыльки цветов колебались, шелестели едва слышно, и казалось, что село заливают золотисто-голубые, тяжелые волны. Неустанно и страстно пели соловьи, а днем задорно дразнились скворцы, и невидимые жаворонки изливали на землю непрерывный, нежный звон свой.

По праздникам, вечерами, девки и молодухи ходили по улице, распевая песни, открыв рты как птенцы, и томно улыбались хмельными улыбками. Изот тоже улыбался точно пьяный, он похудел, глаза его провалились в темные ямы, лицо стало еще строже, красивей и – святей. Он целые дни спал, являясь по улице только под вечер, озабоченный, тихо задумчивый. Кукушкин грубо, но ласково издевался над ним, а он, смущенно ухмыляясь, говорил:

– Молчи, знай! Что поделаешь?

И восхищался:

– Ой, сладка жизнь! И, ведь, как ласково жить можно, какие слова есть для сердца. Иное – до смерти не забудешь, воскреснешь – первым вспомнишь.

– Смотри, побьют тебя мужья, – предупреждал его Хохол, тоже ласково усмехаясь.

– И – есть за что, – соглашался Изот.

Почти каждую ночь, вместе с песнями соловьев, разливался в садах, в поле, на берегу реки высокий, волнующий голос Мигуна, – он изумительно красиво пел хорошие песни, за них даже мужики многое прощали ему.

Вечерами, по субботам, у нашей лавки собиралось все больше народа и неизбежно – старик Сулов, Баринов, кузнец Кротов, Мигун. Сидят и задумчиво беседуют. Уйдут одни, являются другие, и так – почти до полуночи. Иногда скандалят пьяные, чаще других – солдат Костин, человек одноглазый и без двух пальцев на левой руке. Засучив рукава, размахивая кулаками, он подходит к лавке шагом бойцового петуха и орет натужно, хрипло:

– Хохол, вредная нация, турецкая вера! Отвечай – почему в церковь не ходишь, а? Еретицкая душа! Смутьян человечий! Отвечай – кто ты таков есть?

Его дразнят:

– Мишка, – ты зачем пальцы себе отстрелил? Турка испугался?

Он лезет драться, но его хватают и со смехом, с криками

сталкивают в овраг, – катясь кубарем по откосу, он визжит нестерпимо:

– Караул! Убили...

Потом вылезает весь в пыли, и просит у Хохла на шкалик водки.

– За что?

– За потеху, – отвечает Костин. Мужики дружно хохочут.

Однажды утром, в праздник, когда кухарка подожгла дрова в печи и вышла на двор, а я был в лавке – в кухне раздался сильный взрыв, лавка вздрогнула, с полок повалились жестянки карамели, зазвенели выбитые стекла, забарабанило по полу. Я бросился в кухню, – из двери ее в комнату лезли черные облака дыма, за ним что-то шипело и трещало. Хохол схватил меня за плечо:

– Стойте...

В сенях завывла кухарка.

– Э, дура...

Ромась сунулся в дым, загремел чем-то, крепко выругался и закричал:

– Перестань! Воды!

На полу кухни дымились поленья дров, горела лучина, лежали кирпичи, в черном жерле печи было пусто, как выметено. Нашупав в дыму ведро воды, я залил огонь на полу и стал швырять поленья обратно в печь.

– Осторожней! – сказал Хохол, ведя за руку кухарку, и, втолкнув ее в комнату, скомандовал:

– Запри лавку! Осторожнее, Максимыч, может и еще взорвет...

И присев на корточки, он стал рассматривать круглые, еловые поленья, потом начал вытаскивать из печи брошенные мною туда.

– Что вы делаете?

– А – вот!

Он протянул мне странно разорванный кругляш и я увидел, что внутренность его была высверлена коловоротом и странно закоптела.

– Понимаете? Они, черти, начинили полено порохом. Дурачье! Ну, что можно сделать фунтом пороха?

И, отложив полено в сторону, он начал мыть руки, говоря:

– Хорошо, что Аксинья ушла, а то ушибло бы ее...

Кисловатый дым разошелся, – стало видно, что на полке перебита посуда, из рамы окна выдавлены все стекла, а в устье печи – вырваны кирпичи.

В этот час спокойствие Хохла не понравилось мне, – он вел себя так, как будто глупая затея нимало не возмущает его. А по улице бегали мальчишки, звенели их голоса:

– У Хохла пожар! Горим!

Причитая, выла баба, а из комнаты тревожно кричала Аксинья.

– В лавку ломаются, Михайло Антоныч.

– Ну, ну, тихо! – говорил он, вытирая полотенцем мокрую бороду.

В открытое окно комнаты, смотрели искаженные страхом и гневом волосатые рожи, шурились глаза разъедаемые дымом и кто-то возбужденно, визгливо кричал:

– Выгнать их из села! Скандалы у них бесперечь! Что такое, Господи?

Маленький рыжий мужичок, крестясь и шевеля губами, пытался влезть в окно и – не мог, – в правой руке у него был топор, а левая, судорожно хватаясь за подоконник, срывалась.

Держа в руке полено, Ромась спросил его:

– Куда ты?

– Тушить, батюшка...

– Так нигде же не горит...

Мужик, испуганно открыв рот, исчез, а Ромась вышел на крыльцо лавки и, показывая полено, говорил толпе людей:

– Кто-то из вас, мужики, начинил этот кругляш порохом и сунул его в наши дрова. Но пороха оказалось мало, и вреда никакого не вышло...

Я стоял сзади Хохла, смотрел на толпу и слышал, как мужик с топором пугливо рассказывает:

– Как он размахнется на меня поленом...

А солдат Костин, уже выпивший, кричал:

– Выгнать его, изувера! Под суд...

Но большинство людей молчало, пристально глядя на Ромася, недоверчиво слушая его слова:

– Для того, чтоб взорвать избу надо много пороха, – по-

жалуй – пуд! Ну, идите же...

Кто-то спрашивал:

– Где староста?

– Урядника надо!

Люди разошлись не торопясь, неохотно, как будто сожалея о чем-то.

Мы сели пить чай, Аксинья разливала, ласковая и добрая как никогда и, сочувственно поглядывая на Ромаса, говорила:

– Не жалуетесь вы на них, вот они и озорничают!

– Не сердит вас это? – спросил я.

– Времени не хватит сердиться на каждую глупость.

Я подумал: если б все люди так спокойно делали свое дело!

А он уже говорил, что скоро поедет в Казань, спрашивал, какие книги привезти?

Иногда мне казалось, что у этого человека на месте души действует как в часах – некий механизм, заведенный сразу на всю жизнь. Я любил Хохла, очень уважал его, но мне хотелось, чтоб однажды он рассердился на меня или на кого-нибудь другого, кричал бы и топал ногами. Однако он не мог или не хотел сердиться. Когда его раздражали глупостью или подлостью, он только насмешливо прищуривал серые глаза и говорил короткими, холодными словами что-то, всегда очень простое, безжалостное.

Так, он спросил Сулова:

– Зачем же вы, старый человек, кривите душой, а?

Желтые щеки и лоб старика медленно окрасились в багровый цвет, – казалось, что и белая борода его тоже порозовела у корней волос.

– Ведь, – нет для вас пользы в этом, а уважение вы теряете.

Суслов, опустив голову, согласился:

– Верно – нет пользы!

И потом говорил Изоту:

– Это – душеводитель! Вот эдаких бы подобрать в начальство...

... Кратко, толково Ромась внушает, что и как я должен делать без него, и мне кажется, что он уже забыл о попытке попутать его взрывом, как забывают об укусе мухи.

Пришел Панков, осмотрел печь и хмуро спросил:

– Не испугались?

– Ну, чего же?

– Война.

– Садись чай пить.

– Жена ждет.

– Где был?

– На рыбалке. С Изотом.

Он ушел и в кухне еще раз задумчиво повторил:

– Война.

Он говорил с Хохлом всегда кратко, как будто давно уже переговорив обо всем важном и сложном. Помню, – выслу-

шав историю царствования Ивана Грозного, рассказанную Ромасем, Изот сказал:

– Скушный царь!

– Мясник, – добавил Кукушкин, – а Панков решительно заявил:

– Ума особого не видно в нем. Ну, перебил он князей, так – на их место расплодил мелких дворянишек. Да еще чужих навез, иноземцев. В этом нет ума! Мелкий помещик хуже крупного. Муха – не волк, из ружья не убьешь, а надоедает она – хуже волка.

Явился Кукушкин с ведром разведенной глины и, замазывая кирпичи в печь, говорил:

– Удумали черти! Вошь свою перевести – не могут, а, человека извести – пожалуйста! Ты, Антоныч, много товару сразу не вози, лучше – поменьше, да почаще, а то, гляди, подожгут тебя. Теперь, когда ты эту штуку устроишь, – жди беды!

«Эта штука», очень неприятная богатеям села, – артель садовладельцев; Хохол почти уже наладил ее при помощи Панкова, Сулова и еще двух, трех разумных мужиков. Большинство домохозяев начало относиться к Ромасю благосклонней, в лавке заметно увеличивалось количество покупателей, и даже «никчемные» мужики – Баринов, Мигун – всячески старались помочь всем, чем могли, делу Хохла.

Мне очень нравится Мигун, я любил его красивые, печальные песни. Когда он пел, то закрывал глаза и его стра-

дальческое лицо не дергалось судорогами. Жил он темными ночами, когда нет луны или небо занавешено плотной тканью облаков. Бывало, – с вечера зовет меня тихонько:

– Приходи на Волгу.

Там, налаживая на стерлядей запрещенную снасть, сидя верхом на корме своего челнока, опустив кривые, темные ноги в темную воду, он говорит вполголоса:

– Измывается надо мной барин, – ну, ладно, могу терпеть, пес его возьми, он – лицо, он знает неизвестное мне. А – когда свой брат, мужик, чистит меня – как я могу принять это? Где между нами разница? Он – рублями считает, я – копейками, только и всего.

Лицо Мигуна болезненно дергается, прыгает бровь, быстро шевелятся пальцы рук, разбирая и подтачивая напильником крючки снасти; тихо звучит сердечный голос:

– Считаюсь я вором, верно – грешен. Так, ведь, и все грабежом живут, все друг дружку сосут да грызут. Да. Бог нас – не любит, а чорт – балует!

Черная река ползет мимо нас, черные тучи двигаются над нею, лугового берега не видно во тьме. Осторожно шаркают волны о песок берега и замывают ноги мои, точно увлекая меня за собою в безбрежную, куда-то плывущую тьму.

– Жить-то – надо? – вздыхая, спрашивает Мигун.

Вверху, на горе, уныло воет собака. Как сквозь сон, я думаю:

– А зачем надо жить таким и так, как ты?

Очень тихо на реке, очень черно и жутко. И нет конца этой теплой тьме.

– Убьют Хохла. И тебя, гляди, убьют, – бормочет Мигун, потом неожиданно и тихо запекает песню:

*– Меня-а мамонька любила-а,
Говорила:
Эх-ма, Яша, эх-ты, милая душа.
Живи тихо-о...*

Он закрывает глаза, голос его звучит сильнее и печальней, пальцы, разбирая бичевку снасти, шевелятся медленнее.

*– Не послушал я родимой.
Эх, – не послушал...*

У меня странное ощущение: как будто земля, подмытая тяжелым движением темной, жидкой массы, опрокидывается в нее, а я – съезжаю, соскальзываю с земли во тьму, где навсегда утонуло солнце.

Кончив петь так же неожиданно, как начал, Мигун молча стаскивает челнок в воду, садится в него и почти бесшумно исчезает в черноте. Смотрю вслед ему и думаю:

– Зачем живут такие люди?

В друзьях у меня и Баринов, безалаберный человек, хвастун, лентяй, сплетник и непоседливый бродяга. Он жил в Москве и говорит о ней, отплеываясь:

– Адов город! Бестолочь. Церквей – четырнадцать тысяч и шесть штук, а народ – сплошь жулик! И все – в чесотке, как лошади, ей-богу! Купцы, военные, мещане, – все, как есть, ходят и чешутся. Действительно – царь пушка есть там, – струмент громадный! Петр Великий сам ее отливал, чтобы по бунтарям стрелять; баба одна, дворянка, бунт подняла против него, за любовь к нему. Жил он с ней ровно семь лет изо дня в день, потом бросил с троими ребятами. Разгневалась она и – бунт. Так, братец ты мой, как он бабахнет из этой пушки по бунту – девять тысяч триста восемь человек сразу уложил. Даже – сам испугался: нет, – говорит Филарет-митрополиту, – надо ее, сволочь, заклепать от соблазну! Заклепали...

Я говорю ему, что все это ерунда, он – сердится:

– Гос-споди Боже мой! Какой у тебя характер скверный! Мне эту историю подробно ученый человек сказывал, а ты... Ходил он в Киев «ко святым» и рассказывал:

– Город этот – вроде нашего села, тоже на горе стоит и – река, забыл, однако, какая. Против Волги – лужица. Город путаный, надо прямо сказать. Все улицы – кривые и в гору лезут. Народ – хохол, не такой крови, как Михайло Антонов, а – полупольской, полутатарской. Балакает, – не говорит. Нечесанный народ, грязный. Лягушек ест. Лягушки у них фунтов по десяти. Ездит на быках и даже пашет на них. Быки у них – замечательные, самый маленький – вчетверо больше нашего. Восемьдесят три пуда весом. Монахов там

– пятьдесят семь тысяч и двести семьдесят три архиеерея... Ну, чудак! Как же ты можешь спорить? Я – сам все видел, своими глазами, а ты – был там? Не был! Ну, то-то же! Я, брат, точность больше всего люблю...

Он любил цифры, выучился у меня складывать и умножать их, но терпеть не мог деления. Увлеченно умножал многозначные числа, храбро ошибался при этом и, написав длинную линию цифр палкой на песке, смотрел на них пораженно, вытаращив детские глаза, восклицая:

– Такую штуку никто и выговорить не может!

Он – человек нескладный, растрепанный, оборванный, а лицо у него почти красивое, в курчавой, веселой бородке, голубые глаза улыбаются детской улыбкой. В нем и Кукушкине есть что-то общее и, должно быть поэтому, они сторонятся друг друга.

Баринов дважды ездил на Каспий ловить рыбу и – бредит:

– Море, братец мой, ни на что не похоже! Ты перед ним – мошка! Глядишь ты на него и – нет тебя! И жизнь там сладкая. Туда сбегается всякий народ, даже архимандрит один был; ничего – работал! Кухарка тоже была одна, жила она у прокурора в любовницах – ну, чего бы еще надо? Однако не стерпела: очень ты мне, прокурор, любезен, а все-таки – прощай! Потому – кто хоть раз видел море, его снова туда тянет. Простор там. Как в небе – никакой толкотни! Я тоже уйду туда навеки. Не люблю я народ, вот что! Мне бы отшельником жить, в пустынях, ну, – не знаю я пустынь порядочных...

Он болтался в селе, как бездомная собака, его презирали, но слушали рассказы его с таким же удовольствием, как песни Мигуна.

– Ловко врет! Занятно!

Его фантазии иногда смущали разум даже таких положительных людей, как Панков, – однажды этот недоверчивый мужик сказал Хохлу:

– Баринов доказывает, что про Грозного не все в книгах написано, многое скрыто. Он, будто, оборотень был, Грозный, орлом оборачивался, – с его времени орлов на деньгах и чеканят, – в честь ему.

Я замечал, – который раз? – что все необычное, фантастическое, явно, а иногда и плохо выдуманное, нравится людям гораздо больше, чем серьезные рассказы о правде жизни.

Но когда я говорил об этом Хохлу, – он, усмехаясь, говорил:

– Это – пройдет. Лишь бы люди научились думать, а до правды они додумаются! И чудаков этих – Баринова, Кукушкина – вам надо понять. Это, знаете, – художники, сочинители. Таким же – наверное – чудаком Христос был. А – согласитесь, что, ведь, он кое-что не плохо выдумал...

Удивляло меня, что все эти люди мало и неохотно говорят о Боге, только старик Суслов часто и с убеждением замечал:

– Все – от Бога!

И всегда я слышал в этих словах что-то безнадежное. Очень хорошо жилось с этими людьми, и многому научил-

ся я от них в ночи бесед. Мне казалось, что каждый вопрос, поставленный Ромасем, пустил, как мощное дерево, корни свои в плоть жизни, а там, в недрах ее, эти корни сплелись с корнями другого, такого же векового дерева и на каждой ветви их ярко цветут мысли, пышно распускаются листья звучных слов. Я чувствовал свой рост, насосавшись возбуждающего меда книг, увереннее говорил, и уже не раз Хохол, усмехаясь, похваливал меня:

– Хорошо действуете, Максимыч!

Как я был благодарен ему за эти слова!

Панков иногда приводил жену свою, маленькую женщину с кротким лицом и умным взглядом синих глаз, одетую «по-городскому». Она тихонько садилась в угол, скромно поджав губы, но через некоторое время рот ее удивленно открывался и глаза расширялись пугливо. А иногда она, слыша меткое словцо, смущенно смеялась, закрывая лицо руками. Панков же, подмигнув Ромасю, говорил:

– Понимает!

К Хохлу приезжали осторожные люди, он уходил с ними на чердак ко мне и часами сидел там.

Туда Аксинья подавала им есть и пить, там они спали, невидимые никому, кроме меня и кухарки, по-собачьи преданной Ромасю, почти молившейся на него. По ночам Изот и Панков отвозили этих гостей в лодке на мимо идущий пароход или на пристань в Лобышки. Я смотрел с горы, как на черной – или посеребренной луною – реке мелькает чечеви-

да лодки, летает над нею огонек фонаря, привлекая внимание капитана парохода, – смотрел и чувствовал себя участником великого, тайного дела. Приезжала из города Мария Деренкова, но я уже не нашел в ее взгляде того, что смущало меня, – глаза ее показались мне глазами девушки, которая счастлива сознанием своей миловидности и рада, что за нею ухаживает большой, бородатый человек. Он говорил с нею так же спокойно, и немножко насмешливо, как со всеми, только бороду поглаживал чаще, да глаза его сияли теплее. А ее тонкий голосок звучал весело, она была одета в голубое платье, голубая лента на светлых волосах. Детские руки ее были странно беспокойны – как будто искали за что бы схватиться? Она почти непрерывно напевала что-то, не открывая рта, и обмахивала платочком розоватое, тающие лицо. Было в ней что-то волновавшее меня по-новому, неприязненно и сердито. Я старался возможно меньше видеть ее.

В середине июля пропал Изот. Заговорили, что он утонул, и дня через два подтвердилось: верстах в семи ниже села к луговому берегу прибило его лодку с проломленным дном и разбитым бортом. Несчастье объяснили тем, что Изот, вероятно, заснул на реке и лодку его снесло на пыжи трех барж, стоявших на якорях, верстах в пяти ниже села.

Ромась был в Казани, когда случилось это. Вечером ко мне в лавку пришел Кукушкин, уныло сел на мешки, помолчал глядя на ноги себе, потом, закуривая, спросил:

– Когда Хохол воротится?

– Не знаю.

Он начал крепко растирать ладонью битое свое лицо, тихонько ругаясь матерными словами, рыча, как подавившийся костью.

– Что ты?

Он взглянул на меня, кусая губы. Глаза его покраснели, челюсть дрожала. Видя, что он не может говорить, я тревожно ждал чего-то печального. Наконец, выглянув на улицу, он с трудом выговорил, заикаясь:

– Ездил я – с Мигуном. Лодку смотрели Изотову. Топором дно-то прорублено – понял? Значит – убит Изотушка! Убили. Не иначе...

Встряхивая голову, он стал нанизывать матерные слова, одно на другое, всхлипывал сухим, горячим звуком, а потом, замолчав, стал креститься. Нестерпимо было видеть, как этот мужик хочет заплакать, и – не может, не умеет, дрожит весь, задыхаясь в злобе и печали. Вскочил и ушел, встряхивая голову.

На другой день вечером, мальчишки, купаясь, увидели Изота под разбитой баржею, обсохшей на берегу немного выше села. Половина днища баржи была на камнях берега, половина – в воде и под нею, у кормы, зацепившись за изломанные полости руля, распласталось вниз лицом длинное тело Изота с разбитым, пустым черепом, – вода вымыла мозг из него. Рыбака ударили сзади, затылок его был точно стесан топором. Течение колебало Изота, забрасывая ноги его к

берегу, двигая руками рыбака, – казалось, что он напрягает силы свои, пытаясь выкарабкаться на берег.

Угрюмо, сосредоточенно на берегу стояло десятка два мужиков богачей, – бедняки еще не воротились с поля. Суетил-ся, размахивая посошком, вороватый, трусливый староста, шмыгал носом и отирал его рукавом розовой рубахи. Широко расставив ноги, выпятив живот, стоял кряжистый лавочник Кузьмин, глядя – по очереди – на меня и Кукушкина. Он грозно нахмурил брови, но его бесцветные глаза слизились и рябое лицо показалось мне жалким.

– Ой, озорство! – причитал староста, семена кривыми ногами. – Ох, мужики, не хорошо!

Дородная молодуха, сноха его, сидя на камне, тупо смотрела в воду и крестилась дрожащей рукой, губы ее шевелились, и нижняя, толстая, красная как-то неприятно, точно у собаки, отвисала, обнажая желтые зубы овцы. С горы цветными комьями катились девки, ребятишки, поспешно шагали пыльные мужики. Толпа осторожно и негромко гудела:

– Занозистый был мужик.

– Чем это?

– Это, вон, Кукушкин занознет...

– Зря извели человека...

– Изот – смирно жил...

– Смирно-о? – завыл Кукушкин, бросаясь к мужикам. –

Так за что же вы его убили, а? Сволочь! А?

Вдруг истерически захохотала какая-то баба, и хохот кли-

куши точно плетью ударил толпу, – мужики заорали, налезая друг на друга, ругаясь, рыча, а Кукушкин, подскочив к лавочнику, с размаха ударил его ладонью по шероховатой щеке:

– На, животный!

Размахивая кулаками, он тотчас же выскочил из свалки и почти весело крикнул мне:

– Уходи, драться будут!

Его уже ударили, он плевал кровью из разбитой губы, но лицо его сияло удовольствием...

– Видал, как я Кузьмина шарахнул?

К нам подбежал Баринов, пугливо оглядываясь на толпу у баржи – она сбилась тесной кучей, из нее вырывался тонкий голос старосты.

– Нет, ты докажи – кому я мирволю? Ты – докажи!

– Уходить надо отсюда мне, – ворчал Баринов, поднимаясь в гору. – Вечер был зноен, тягостная духота мешала дышать. Багровое солнце опускалось в плотные, синеватые тучи, красные отблески сверкали на листьях кустов; где-то ворчал гром.

Предо мною шевелилось тело Изота, и на разбитом черепе его волосы, выпрямленные течением, как будто встали дыбом. Я вспоминал его глуховатый голос, хорошие слова:

– В каждом человеке детское есть, – на него и надо упираться, на детское это. Возьми Хохла: он, будто, железный; а душа в нем – детская.

Кукушкин, шагая рядом со мною, говорил сердито:

– Всех нас вот эдак, – перетово... Господи, глупость какая!

Хохол приехал дня через два, поздно ночью, видимо очень довольный чем-то, необычно ласковый. Когда я впустил его в избу, он хлопнул меня по плечу:

– Мало спите, Максимыч.

– Изота убили.

– Что-о?

Скулы у него вздулись желваками и борода задрожала, точно струясь, стекая на грудь. Не снимая фуражки, он остановился среди комнаты, прищуriv глаза, мотая головой.

– Так. Неизвестно – кто? Ну, да...

Медленно прошел к окну и сел там, вытянув ноги.

– Я же говорил ему... Начальство было?

– Вчера. Становой...

– Ну, что же? – спросил он и сам себе ответил: – конечно – ничего.

Я сказал ему, что становой, как всегда, остановился у Кузьмина и велел посадить в холодную Кукушкина за пощечину лавочнику.

– Так. Ну, что же тут скажешь?

Я ушел в кухню кипятить самовар.

За чаем Ромась говорил:

– Жалко этот народ, – лучших своих убивает он. Можно думать – боится их. «Не ко двору» они ему, как здесь гово-

рят. Когда шел я этапом в Сибирь эту, – каторжанин один рассказывал мне: занимался он воровством, была у него целая шайка, пятеро. И вот один начал говорить: бросимте, братцы, воровство, все равно – толку нет, живем плохо. И за это они его удушили, когда он пьяный спал. Рассказчик очень хвалил мне убитого: троих, говорит, прикончил я после того – не жалко, а товарища до сего дня жалею, хороший был товарищ – умный, веселый, чистая душа. «Что же вы убили его, – спрашиваю, – боялись: выдаст?» Даже обиделся: «нет, говорит, он бы ни за какие деньги не выдал, ни за что. А – так, как-то, не ладно стало дружить с ним, все мы – грешны, а он, будто, праведник. Не хорошо».

Хохол встал и начал шагать по комнате, заложив руки на спину, держа в зубах трубку, белый весь, в длинной татарской рубахе до пят. Крепко топя босыми подошвами, он говорил тихо и задумчиво, точно беседуя сам с собою.

– Много раз натыкался я на эту боязнь праведника, на изгнание из жизни хорошего человека. Два отношения к таким людям: либо их всячески уничтожают, сначала затравив хорошенько, или – как собаки – смотрят им в глаза, ползают пред ними на брюхе. Это – реже. А учиться жить у них, подражать им – не могут, не умеют. Может быть – не хотят?

Взяв стакан остывшего чая, он сказал:

– Могут и не хотеть. Подумайте, – люди с великим трудом наладили для себя какую-то жизнь, привыкли к ней, а кто-то один – бунтует: не так живете. Не так? Да, мы же лучшие

силы наши вложили в эту жизнь, дьявол тебя возьми. И – бац его, учителя, праведника. Не мешай. А, все же таки, живая правда с теми, которые говорят: не так живете. С ними правда. И это они двигают жизнь к лучшему.

Махнув рукою на полку книг, он добавил:

– Особенно – эти! Эх, если б я мог написать книгу. Но – не гожусь на это, – мысли у меня тяжелые, нескладные.

Он сел за стол, облокотился и, сжав голову руками, сказал:

– Как жалко Изота...

И долго молчал.

– Ну, давайте, ляжем спать...

Я ушел к себе, на чердак, сел у окна. Над полями вспыхивали зарницы, обнимая половину небес, – казалось, что луна испуганно вздрагивает, когда по небу разольется прозрачный, красноватый свет. Надрывно лаяли и выли собаки, – и если б не этот вой, можно было бы вообразить себя живущим на необитаемом острове. Рокотал отдаленный гром, в окно вливался тяжелый поток душного тепла.

Предо мною лежало тело Изота, – на берегу, под кустами ивняка. Синее лицо его было обращено к небу, а остеклевшие глаза строго смотрели внутрь себя. Золотистая борода слиплась острыми комьями, в ней прятался изумленно открытый рот.

– Главное, Максимыч, доброта, ласка! Я Пасху люблю за то, что она самый ласковый праздник.

К синим его ногам, чисто вымытым Волгой, прилипли си-

ние штаны, высохнув на знойном солнце. Мухи гудели над лицом рыбака, от его тела исходил одуряющий, тошнотворный запах.

Тяжелые шаги на лестнице... согнувшись в двери, вошел Ромась и сел на мою койку, собрав бороду в горсть.

– А я, знаете, женюсь! Да.

– Трудно будет здесь женщине...

Он пристально посмотрел на меня, как будто ожидая: что еще скажу я? Но я не находил, что сказать. Отблески зарниц вторгались в комнату, заливая ее призрачным светом.

– Женюсь на Маше Деренковой...

Я невольно улыбнулся: до этой минуты мне не приходило в голову, что эту девушку можно назвать – Маша. Забавно. Не помню, чтоб отец или братья называли ее так – Маша.

– Вы что смеетесь?

– Так.

– Думаете – стар я для нее?

– О, нет!

– Она сказала мне, что вы были влюблены в нее.

– Кажется, – да.

– А теперь? Прошло?

– Да, я думаю.

Он выпустил бороду из пальцев, тихо говоря:

– В ваши годы это часто кажется, а в мои – это уж не кажется, но просто охватывает всего, и ни о чем нельзя больше думать, нет сил.

И, оскалив крепкие зубы, усмешкой, он продолжал:

– Антоний проиграл цезарю Октавиану битву при Акциуме потому, что, бросив свой флот и командование, побежал на своем корабле вслед за Клеопатрой, когда она испугалась и отплыла из боя, – вот что бывает.

Встал Ромась, выпрямился и повторил как поступающий против своей воли:

– Так, вот как – женюсь!

– Скоро?

– Осенью. Когда кончим с яблоками.

Он ушел, наклонив голову в двери ниже, чем это было необходимо, а я лег спать, думая, что, пожалуй, лучше будет, если я осенью уйду отсюда. Зачем он сказал про Антония? Не понравилось это мне.

Уже наступала пора снимать скороспелые сорта яблок. Урожай был обилен, ветви яблонь гнулись до земли под тяжестью плодов. Острый запах аниса окутал сады, там гомонили дети, собирая червобоину и сбитые ветром желтые и розовые яблоки.

В первых числах августа Ромась приплыл из Казани с досчаником товара и другим, груженым коробами. Было утро часов восемь буднего дня. Хохол только что переоделся, вымылся и, собираясь пить чай, весело говорил:

– А хорошо плыть ночью по реке...

И вдруг, потянув носом, спросил озабоченно:

– Как будто – гарью пахнет?

В ту же минуту на дворе раздался вопль Аксиньи:

– Горим!

Мы бросились на двор, – горела стена сарая со стороны огорода, в сарае мы держали керосин, деготь, масло. Несколько секунд мы, оторопело смотрели, как деловито желтые языки огня, обесцвеченные ярким солнцем, лижут стену, загибаются на крышу. Аксинья притащила ведро воды, Хохол выплеснул его на горящую стену, бросил ведро и сказал:

– К чорту! Выкатывайте бочки, Максимыч! Анисья – в лавку!

Я быстро выкатил на двор и на улицу бочку дегтя и взялся за бочку керосина, но когда я повернул ее, – оказалось, что втулка бочки открыта и керосин потек на землю. Пока я искал втулку, огонь – не ждал, сквозь досчатые сени сарая просунулись острые его клинья, потрескивала крыша и что-то насмешливо пело. Выкатив неполную бочку, я увидел, что по улице отовсюду с воем и визгом бегут бабы, дети. Хохол и Аксинья выносят из лавки товар, спуская его в овраг, а среди улицы стоит черная седая старуха и, грозя кулаком, кричит пронзительно:

– А-а-а, дьяволы!..

Снова вбежав в сарай, я нашел его полным густейшего дыма: в дыму гудело, трещало, с крыши свешивались, извиваясь, красные ленты, а стена уже превратилась в раскаленную решетку. Дым душил меня и ослеплял, у меня едва хватило

сил подкатить бочку к двери сарая, в дверях она застряла и дальше не шла, а с крыши на меня сыпались искры, жаля кожу. Я закричал о помощи, прибежал Хохол, схватил меня за руку и вытолкнул на двор.

– Бегите прочь! Сейчас взорвет...

Он бросился в сени, а я за ним и – на чердак, там у меня лежало много книг. Вышвырнув их в окно, я захотел отправить вслед за ними ящик шапок; окно было узко для него, тогда я начал выбивать косяки полупудовой гирей, но – глухо бухнуло, на крышу сильно плеснуло, я понял, что это взорвалась бочка керосина, крыша надо мною запылала, затрещала, мимо окна лилась, заглядывая в него, рыжая струя огня, и мне стало нестерпимо жарко. Бросился к лестнице, – густые облака дыма поднимались навстречу мне, по ступенькам вползали багровые змеи, а внизу, в сенях так трещало, точно чьи-то железные зубы грызли дерево. Я растерялся. Слепленный дымом, задыхаясь, я стоял неподвижно какие-то бесконечные секунды. В слуховое окно над лестницей заглянула рыжебородая желтая рожа, судорожно искривилась, исчезла и тотчас же крышу пронзили кровавые копыя пламени.

Помню, мне казалось, что волосы на голове моей трещат и кроме этого я не слышал иных звуков. Понимал, что – погиб, отяжелели ноги, и было больно глазам, хотя я закрыл их руками.

Мудрый инстинкт жизни подсказал мне единственный

путь спасения – я схватил в охапку мой тюфяк, подушку, связку мочала, окутал голову овчинным тулупом Ромася и выпрыгнул в окно.

Очнулся я на краю оврага, предо мной сидел на корточках Ромась и кричал:

– Что-о?

Я встал на ноги, очумело глядя, как таяла наша изба, вся в красных стружках, черную землю пред нею лизали злые собачьи языки. Окна дышали черным дымом, на крыше росли, качаясь, желтые цветы.

– Ну, что? – кричал Хохол. Его лицо, облитое потом, выпачканное сажей, плакало грязными слезами, глаза испуганно мигали, в мокрой бороде запуталось мочало.

Меня облила освежающая волна радости – такое огромное, мощное чувство, – потом ожгла боль в левой ноге, я лег и сказал Хохлу:

– Ногу вывихнул.

Ощупав ногу, он вдруг дернул ее – меня хлестнуло острой болью, и через несколько минут, точно пьяный от радости, прихрамывая, я сносил к нашей бане спасенные вещи, а Ромась, с трубкой в зубах, весело говорил:

– Был уверен, что сгорите вы, когда взорвало бочку и керосин хлынул на крышу. Огонь столбом поднялся очень высоко, а потом в небе вырос эдакий гриб и вся изба сразу окунулась в огонь. Ну, думаю, пропал Максимыч!..

Он был уже спокоен, как всегда, аккуратно укладывал ве-

щи в кучу и говорил чумазой, растрепанной Аксинье:

– Сидите тут, стерегите, чтоб не воровали, а я пойду гасить...

В дыму под оврагом летали белые куски бумаги.

– Эх, – сказал Ромась, – жалко книг! Родные книжки были...

Горело уже четыре избы. День был тихий, огонь не торопился, растекаясь направо и налево, гибкие крючья его цеплялись за плети и крыши как бы неохотно. Раскаленный гребень чесал солому крыш; кривые, огненные пальцы перебирали плетни, точно играя на них, как на гусях; в дымном воздухе разносилось злорадно-ноющее, жаркое пение пламени и тихий, почти нежно звучащий, треск тающего дерева. Из облака дыма падали на улицу и во дворы золотые «галки», бестолково суетились мужики и бабы, заботясь каждый о своем, и непрерывно звучал воющий крик:

– Воды-ы!

Вода была далеко, под горой, в Волге. Ромась быстро сбил мужиков в кучу, хватая их за плечи, толкая, потом разделил на две группы и приказал ломать плетни и службы с обеих сторон пожарища. Его покорно слушались, и началась более разумная борьба с уверенным стремлением огня пожрать весь «порядок», всю улицу. Но работали все-таки боязливо и как-то безнадежно, точно делая чужое дело.

Я был настроен радостно и чувствовал себя сильным, как никогда. В конце улицы я заметил кучку богатеев со старо-

стой и Кузьминым во главе, – они стояли, ничего не делая, как зрители, кричали, размахивая руками и палками. С поля, верхами, скакали мужики, взмахивая локтями до ушей, вопили бабы навстречу им, бегали мальчишки.

Загорались службы еще одного двора, нужно было как можно скорее разобрать стену хлева, она была сплетена из толстых сучьев и уже украшена алыми лентами пламени. Мужики начали подрубать колья плетня, на них посыпались искры, угли, и они отскочили прочь, затирая ладонями тлеющие рубахи.

– Не трусь! – кричал Хохол.

Это не помогло. Тогда он сорвал шапку с кого-то, нахлобучил ее на мою голову:

– Рубите с того конца, а я – здесь!

Я подрубил один-два кола, – стена закачалась, тогда я влез на нее, ухватился за верх, а Хохол протянул меня за ноги на себя и вся полоса плетня упала, покрыв меня почти до головы. Мужики дружно выволокли плетень на улицу.

– Обожглись? – спросил Ромась.

Его заботливость увеличивала мои силы и ловкость. Хотелось отличиться пред этим, дорогим для меня, человеком, я неистовствовал, лишь бы заслужить его похвалу. А в туче дыма все еще летали, точно голуби, страницы наших книг.

С правой стороны удалось прервать распространение пожара, а влево он распространялся все шире, захватывая уже десятый двор. Оставив часть мужиков следить за хитростя-

ми красных змей, Ромась погнал большинство работников в левую; пробегая мимо богатеев, я услышал чье-то злое восклицание:

– Поджог!

А лавочник сказал:

– В бане у него поглядеть надо!

Эти слова неприятно засели мне в память.

Известно, что возбуждение, радостное особенно, увеличивает силы; я был возбужден радостно, работал самозабвенно и, наконец, «выбился из сил». Помню, что сидел на земле, прислоняясь спиной к чему-то горячему, Ромась поливал меня водою из ведра, а мужики, окружив нас, почтительно бормотали:

– Силенка у робенка!

– Этот – не выдаст...

Я прижался головою к ноге Ромася и постыднейше заплакал, а он гладил меня по мокрой голове, говоря:

– Отдохните! Довольно.

Кукушкин и Баринов, оба закоптевшие как черти, повели меня в овраг, утешая:

– Ничего, брат! Кончилось.

– Испугался?

Я не успел еще отлежаться и притти в себя, когда увидел, что в овраг, к нашей бане, спускается человек десять «богачей», впереди их – староста, а сзади его двое сотских ведут под руки Ромася. Он – без шапки, рукав мокрой рубахи ото-

рван, в зубах стиснута трубка, лицо его сурово нахмурено и страшно. Солдат Костин, размахивая палкой, неистово орет:

– В огонь еретицкую душу!

– Отпирай баню...

– Ломайте замок – ключ потерян, – громко сказал Ромась.

Я вскочил на ноги, схватил с земли кол и встал рядом с ним. Сотские отодвинулись, а староста визгливо, испуганно сказал:

– Православные, ломать замки не позволено!

Указывая на меня, Кузьмин кричал:

– Вот этот еще... Кто таков?

– Спокойно, Максимыч, – говорил Ромась. – Они думают, что я спрятал товар в бане и сам поджег лавку.

– Оба вы!

– Ломай!

– Православные...

– Отвечаем!

– Наш ответ...

Ромась шепнул:

– Встаньте спиной к моей спине, чтобы сзади не ударили...

Замок бани сломали, несколько человек сразу втиснулось в дверь и почти тотчас же вылезли оттуда, а я, тем временем, сунул кол в руку Ромася и поднял с земли другой.

– Ничего нет...

– Ничего?

– Ах, дьяволы!

Кто-то робко сказал:

– Напрасно, мужики...

И в ответ несколько голосов буйно, как пьяные:

– Чего – напрасно?

– В огонь его!

– Смутьяны...

– Артели затевают!

– Воры! И компания у них – воры!

– Цыц! – громко крикнул Ромась. – Ну, – видели вы, что в бане у меня товар не спрятан – чего еще надо вам? Все сгорело, осталось – вот: видите? Какая же польза была мне поджигать свое добро?

– Застраховано!

И снова десять глоток яростно заорали:

– Чего глядеть на них?

– Будет! Натерпелись...

У меня ноги тряслись и потемнело в глазах. Сквозь красноватый туман я видел свирепые рожи, волосатые дыры ртов на них и едва сдерживал злое желание бить этих людей. А они орали, прыгая вокруг нас.

– Ага-а, колья взяли!

– С кольями?!

– Оторвут они бороду мне, – говорил Хохол, и я чувствовал, что он усмехается. – И вам попадет, Максимыч, – эх. Но – спокойно – спокойно...

– Глядите, у молодого топор.

У меня за поясом штанов, действительно, торчал плотничный топор, я забыл о нем.

– Как будто – трусят... – соображал Ромась. – Однако вы топором не действуйте, если что...

Незнакомый, маленький и хромой мужичонко, смешно приплясывая, неистово визжал:

– Кирпичами их издаля! Бей в мою голову!

Он, действительно, схватил обломок кирпича, размахнулся и бросил его мне в живот, но раньше, чем я успел ответить ему, сверху, ястребом, свалился на него Кукушкин и они, обнявшись, покатались в овраг. За Кукушкиным прибежал Панков, Баринов, кузнец, еще человек десять, и тотчас же Кузьмин солидно заговорил:

– Ты, Михаило Антонов, человек умный, тебе известно: пожар мужика с ума сводит...

– Идемте, Максимыч, на берег, в трактир, – сказал Ромась и, вынув трубку изо рта, резким движением сунул ее в карман штанов. Подпираясь колом, он устало полез из оврага, и когда Кузьмин, идя рядом с ним, сказал что-то, он, не взглянув на него, ответил:

– Пошел прочь, дурак.

На месте нашей избы тлела золотая грудa углей, в середине ее стояла печь, из уцелевшей трубы поднимался в горячий воздух голубой дымок. До красна раскаленные прутья койки торчали точно ноги паука. Обугленные верей ворот стояли

у костра черными сторожами, одна веревка – в красной шапке углей и в огоньках, похожих на перья петуха.

– Сгорели книги, – сказал Хохол, вздохнув. – Это досадно!..

Мальчишки загоняли палками в грязь улицы большие головни, точно поросят, они шипели и гасли, наполняя воздух едким беловатым дымом. Человек, лет пяти от рода, беловолосый, голубоглазый, сидя в теплой, черной луже, бил палкой по измятому ведру, сосредоточенно наслаждаясь звуками ударов по железу. Мрачно шагали погорельцы, стаскивая в кучи уцелевшую домашнюю утварь. Плакали и ругались бабы, ссорясь из-за обгоревших кусков дерева. В садах, за пожарищем, недвижимо стояли деревья, листва многих порыжела от жары, и обилие румяных яблок стало виднее.

Мы сошли к реке, выкупались и потом молча пили чай в трактире на берегу.

– А с яблоками мироеды проиграли дело, – сказал Ромась.

Пришел Панков, задумчивый и более мягкий, чем всегда.

– Что, брат? – спросил Хохол.

Панков пожал плечами:

– У меня изба застрахована была.

Помолчали, странно, как незнакомые, присматриваясь друг ко другу шупающими глазами.

– Что теперь будешь делать, Михаил Антоныч?

– Подумаю.

– Уехать надо тебе отсюда.

– Посмотрю.

– У меня план есть, – сказал Панков: – пойдем на волю, поговорим.

Пошли. В дверях Панков обернулся и сказал мне:

– А не робок ты. Тебе здесь – можно жить, тебя бояться будут...

Я тоже вышел на берег, лег под кустами, глядя на реку.

Жарко, хотя солнце уже опускалось к западу. Широким свитком развернулось предо мною все, пережитое в этом селе – как будто красками написанное на полосе реки. Грустно было мне. Но скоро одолела усталость, и я крепко заснул.

– Эй, – слышал я, сквозь сон, чувствуя, что меня трясут и тащат куда-то. Помер ты, что ли? Очнись!

За рекой над лугами светилась багровая луна, большая точно колесо. Надо мною наклонился Баринов, раскачивая меня.

– Иди, – Хохол тебя ищет, беспокоится.

Идя сзади меня, он ворчал:

– Тебе нельзя спать где попало! Пройдет по горе человек, оступится спустит на тебя камень. А то и нарочно спустит. У нас – не шутят! Народ, братец ты мой, зло помнит. Окромя зла ему и помнить нечего.

В кустах на берегу кто-то тихонько возился, – шевелились ветви.

– Нашел? – спросил звучный голос Мигуна.

– Веду, – ответил Баринов.

И, отойдя шагов десять, сказал, вздохнув:

– Рыбу воровать собирается. Тоже и Мигуну – не легка жизнь.

Ромась встретил меня сердитым упреком:

– Вы то же, гуляете? Хотите, чтоб вздули вас?

А когда мы остались одни, он сказал хмуро и тихо:

– Панков предлагает вам остаться у него. Он хочет лавку открыть. Я вам не советую. А – вот что – я продал ему все, что осталось, уеду в Вятку и через некоторое время выпишу вас к себе. Идет?

– Подумаю.

– Думайте.

Он лег на пол, повозился немного и замолчал. Сидя у окна, я смотрел на Волгу. Отражения луны напоминали мне огни пожара. Под луговым берегом тяжело шлепал плицами колес буксирный пароход, три мачтовых огня плыли во тьме, касаясь звезд и порою закрывая их.

– Сердитесь на мужиков? – сонно спросил Ромась. – Не надо. Они только глупы. Злоба – это глупость.

Слова его не утешали, не могли смягчить мое ожесточение и остроту обиды моей. Я видел пред собою звериные, волосатые пасти, извергавшие злой визг:

– Кирпичами издаля!

В это время я еще не умел забывать то, что не нужно мне.

Да, я видел, что в каждом из этих людей, взятом отдельно, немного злобы, а часто и совсем нет ее. Это, в сущности, доб-

рые звери, – любого из них не трудно заставить улыбнуться детской улыбкой, любой будет слушать с доверием ребенка рассказы о поисках разума и счастья, о подвигах великодушия. Странной душе этих людей дорого все, что возбуждает мечту о возможности легкой жизни по законам личной воли.

Но когда на сельских сходах или в трактире на берегу эти люди соберутся серой кучей, они прячут куда-то все свое хорошее и облачаются, как попы, в ризы лжи, лицемерия, в них начинает играть собачья угодливость пред сильными, – и тогда на них противно смотреть. Или – неожиданно их охватывает волчья злоба, ощетинясь, оскалив зубы, они дико воют друг на друга, готовы драться – и дерутся – из-за пустяка, – в эти минуты они страшны и могут разрушить церковь, куда еще вчера вечером шли кротко и покорно, как овцы в хлев. У них есть поэты и сказочники, никем не любимые, они живут на смех селу без помощи, в презрении.

Не умею, не могу жить среди этих людей. И я изложил все мои горькие думы Ромасю в тот день, когда мы расставались с ним.

– Преждевременный вывод, – заметил он с упреком.

– Но – что же делать, если он сложился?

– Неверный вывод! Неосновательно.

Он долго убеждал меня хорошими словами в том, что я неправ, ошибаюсь.

– Не торопитесь осуждать! Осудить – всего проще, не увлекайтесь этим. Смотрите на все спокойно, памятуя об од-

ном: все проходит, все изменяется к лучшему... Медленно? Зато прочно! Заглядывайте всюду, ощупывайте все, будьте бесстрашны, но – не торопитесь осудить. До свидания, дружище!

Это свидание состоялось через пятнадцать лет в Седлеце после того, как Ромась отбыл по делу «народоправцев» еще одну десятигодовую ссылку в Якутской области...

Меня свинцом облила тоска, когда он уехал из Красновидова. Я заметался по селу точно кутенок, потерявший хозяина. Я ходил с Бариновым по деревням, мы работали у богатых мужиков: молотили, рыли картофель, чистили сады. Жил я у него в бане.

– Лексей Максимыч, воевода без народа. – Как же, а? – спросил он меня дождливой ночью, – едем, что ли, на море завтра? Ей-богу! Чего тут? Не любят здесь нашего брата, эдаких. Еще – того, как-нибудь, под пьяную руку.

Не впервые говорил это Баринов. Он тоже, почему-то, затосковал, его обезьяньи руки бессильно повисли, он уныло оглядывался, точно заплутавшийся в лесу.

В окно бани хлестал дождь, угол ее подмывал поток воды, бурно стекая на дно оврага. Немошно вспыхивали бледные молнии последней грозы. Баринов тихо спрашивал:

– Едем, а? Завтра?

Поехали.

–

...Неизъяснимо хорошо плыть по Волге осенней ночью,

сидя на корме баржи у руля, которым водит мохнатое чудовище с огромной головой, – водит, топая по палубе тяжелыми ногами, и грустно вздыхает.

– О – уп!.. О – рро-у...

За кормой шелково струится, тихо плещет вода, смолисто-густая, безбрежная. Над рекой клубятся черные тучи осени. Все вокруг – только медленное движение тьмы, она стерла берега, кажется, что вся земля растаяла в ней, превращена в дымное и жидкое, – непрерывно, бесконечно всей массой текущее куда-то вниз, в пустынное, немое пространство, где нет ни солнца, ни луны, ни звезд...

Впереди, в темноте сырой, тяжело возится и дышит невидимый буксирный пароход, как бы сопротивляясь упругой силе, влекущей его. Три огонька два над водой и один высоко над ними – провожают его; ближе ко мне, под тучами плывут, точно золотые караси, еще четыре, один из них – огонь фонаря на мачте нашей баржи...

Я чувствую себя заключенным внутри холодного, масляного пузыря, он тихо скользит по наклонной плоскости, а я вклеплен в него, как мошка. Мне кажется, что движение постепенно замирает и близок момент, когда оно совсем остановится, – пароход перестанет ворчать и бить плицами колес по густой воде, все звуки облетят, как листья с дерева, сотрутся, как надписи мелом, и владычно обнимет меня неподвижность, тишина.

И большой человек в рваном овчинном тулупе, в лохма-

той бараньей шапке, шагающий у руля, остановится недвижимо, заколдованный навеки, не будет рычать:

– Опр-оп! О-урр...

Я спросил его:

– Как тебя звать?

– А зачем тебе знать? – глухо ответил он.

На закате солнца, отплывая из Казани, я заметил, что у этого человека, неуклюжего, как медведь, лицо волосатое, безглазое. Становясь к рулю, он вылил в деревянный ковш бутылку водки, выпил ее в два приема, как воду, и закусил яблоком. А когда буксир дернул баржу, человек, вцепившись в рычаг руля, взглянул на красный круг солнца и, потрянув башкой, сказал строго:

– Благослови Господь!

Пароход ведет из Нижнего, с ярмарки, в Астрахань четыре баржи, груженные штучным железом, бочками сахара и какими-то тяжелыми ящиками, – все это для Персии. Баринов постучал по ящикам ногою, понюхал, подумал и сказал:

– Не иначе – ружья, с Ижевского завода...

Но рулевой ткнул его кулаком в живот и спросил:

– Тебе какое дело?

– В мыслях моих...

– А – в морду, – хочешь?

За проезд на пассажирском пароходе нам нечем платить, мы взяты на баржу «из милости», и хотя мы «держим вахту», как матросы, – все на баржи смотрят на нас, точно на нищих.

– А ты говоришь – народ, – упрекает меня Баринов. – Тут просто: кто на ком сел верхом...

Тьма так плотна, что барж не видно, видишь только освещенные огнями фонарей острейя мачт на фоне дымных туч. Тучи пахнут нефтью.

Меня раздражает угрюмое молчание рулевого. Я назначен боцманом «вахтить» на руле в помощь этому зверю. Следя за движением огней на поворотах, он тихо говорит мне:

– Эй, берись.

Вскакиваю на ноги и ворочаю рычаг руля.

– Ладно... – ворчит он.

Я снова сажусь на палубу. Разговориться с этим человеком не удастся, он отвечает вопросами:

– А тебе что за дело?

О чем он думает? Когда проходили место, где желтые воды Камы вливаются в стальную полосу Волги, он, посмотрев на север, проворчал:

– Сволочь.

– Кто?

Не ответил.

Где-то далеко, в пропастях тьмы, воют и лают собаки. Это напоминает о каких-то остатках жизни, еще нераздавленных тьмою. Это кажется недостижимо-далеким и ненужным.

– Собаки тут плохие, – неожиданно говорит человек у руля.

– Где – тут?

– Везде. У нас собака – настоящий зверь...

– Ты – откуда?

– Вологодский.

И, точно картофель из прорванного мешка, покатались серые, тяжелые слова:

– Это – кто с тобой – дядя? Дурак он, по-моему. А у меня дядя умный. Лихой. Богач. В Симбирском пристань держит. Трактир на берегу.

Выговорив все это медленно и как бы с трудом, человек уставился невидимыми глазами на мачтовый фонарь парохода, следя, как он ползет в сетях тьмы золотым пауком.

– Берись, ну... Грамотный? Не знаешь – кто законы пишет.

Не дождавшись ответа, он продолжал:

– Разно говорят: одни – царь, другие – митрополит. Сенат. Кабы я наверно знал – кто, сходил бы к нему. Сказал бы: ты пиши законы так, чтобы я замахнуться не мог, а не то, что ударить. Закон должен быть железный. Как ключ. Заперли мне сердце и – шабаш! Тогда я – отвечаю! А так – не отвечаю! Нет.

Он бормотал для себя, все более тихо и бессвязно, пристукивая кулаком по дереву рычага.

С парохода кричали в рупор, и глухой голос человека был так же излишен, как лай и вой собак, уже всосанный жирной ночью. У бортов парохода по черной воде, желтыми масляными пятнами плывут отсветы огней и тают, бессильные

осветить что-либо. А над нами точно ил течет, – так вязки и густы темные, сочные облака. Мы все глубже скользим в безмолвные недра тьмы.

Человек угрюмо жаловался:

– К чему довели меня? Сердце не дышит...

Безразличие овладело мною, безразличие и холодная тоска. Захотелось спать.

Осторожно, с трудом продираясь сквозь тучи, подкрался рассвет без солнца, немощный и серый. Окрасил воду в цвет свинца, показал на берегах желтые кусты, железные, ржавчиной покрытые сосны, темные лапы их ветвей, вереницу изб деревни, фигуру мужика, точно вырубленную из камня. Над баржой пролетела чайка, свиснув кривыми крыльями.

Меня и рулевого сменили с вахты, я залез под брезент и уснул, но вскоре – так показалось мне – меня разбудил топот ног и крики. Высунув голову из-под брезента, я увидел, что трое матросов, прижав рулевого к стенке «конторки», разноголосо кричат:

– Брось, Петруха!

– Господь с тобой, – ничего!

– А ты – полно!

Скрестив руки, вцепившись пальцами в плечи себе, он стоял спокойно, прижимая ногою к палубе какой-то узел, смотрел на всех по очереди и хрипло уговаривал:

– Дайте от греха уйти!

Он был бос, без шапки, в одной рубахе и портах, темная

куча нечесанных волос торчала на его голове; они спускались на упрямый, выпуклый лоб; под ним видны были маленькие глаза крота, налитые кровью, они смотрели умоляюще, тревожно.

– Утонешь! – говорили ему.

– Я? Никак. Пустите, братцы. Не пустите – убью его. Как приплывем в Симбирской, так и...

– Да перестань!

– Эх, братцы...

Он медленно, широко развел руки, опустился на колени и, касаясь руками «конторки», точно распятый, повторил:

– Дайте от греха бежать!

В голосе его, странно глубоко, было что-то потрясающее, раскинутые руки, длинные, как весла, дрожали, обращены ладонями к людям. Дрожало и его медвежье лицо в косматой бороде; кротовые, слепые глаза темными шариками выкатились из орбит. Казалось, что невидимая рука вцепилась в горло ему и душит.

Мужики молча расступились пред ним, он неуклюже встал на ноги, поднял узел, сказал:

– Вот – спасибо!

Подошел к борту и с неожиданной легкостью прыгнул в реку. Я тоже бросился к борту и увидел, как Петруха, болтая головою, надел на нее – шапкой – свой узел и поплыл наискось течения, к песчаному берегу, где, навстречу ему, нагибались под ветром кусты, сбрасывая в воду желтые листья.

Мужики говорили:

– Одолел себя, все-таки!

Я спросил:

– Он – сошел с ума?

– Зачем? Нет, это он – души спасенья ради...

Петруха уже выплыл на мелкое место, встал по грудь в воде и взмахнул над головою узлом.

Матросы закричали:

– Прощай!

Кто-то спросил:

– А как же без пачпорта он?

Рыжий, кривоногий матрос рассказывал мне с удовольствием:

– У него, в Симбирске, дядя живет, злодей ему и разоритель, вот он и затеял убить дядю, да, однако, пожалел сам себя, отскочил от греха. Зверь – мужик, а – добрый! Он – хороший...

А хороший мужик уже шагал по узкой полосе песка, против течения реки и – вот он исчез в кустах.

Матросы оказались добрыми ребятами, все они были земляки мне, исконные волгари; к вечеру я чувствовал себя своим человеком среди них. Но на другой день заметил, что они смотрят на меня с любопытством угрюмо, недоверчиво. Я тотчас догадался, что чорт дернул Барина за язык и этот фантазер что-то рассказывал матросам про меня.

– Рассказал?

Улыбаясь бабьими глазами, смущенно почесывая за ухом, он сознался:

– Рассказал немножко!

– Да – я ж тебя просил молчать?

– Ведь я и молчал, да уж больно история интересна. Хотели в карты играть, а рулевой захвати карты, – скушно. Я и того...

Из расспросов моих оказалось, что Баринов, скуки ради, сплел весьма забавную историю, в конце которой Хохол и я, как древние викинги, рубились топорами с толпой мужиков.

Бесполезно было сердиться на него, – он видел правду только вне действительности. Однажды, когда я с ним, по пути на поиски работы, сидел на краю оврага в поле, он убежденно и ласково внушал мне:

– Правду надобно выбирать по душе! Вон, за оврагом, стадо пасется, собака бегает, пастух ходит. Ну, так что? Чем мы с тобой от этого попользуемся для души? Милый, ты взгляни просто: злой человек – правда, а добрый – где? Доброгo-то еще не выдумали, да-а!

В Симбирске матросы очень нелюбезно предложили нам сойти с баржи на берег.

– Вы нам люди не подходящие, – сказали они.

Свезли нас в лодке к пристаням Симбирска, и мы обсохли на берегу, имея в карманах тридцать семь копеек.

Пошли в трактир пить чай.

– Что будем делать?

Баринов уверенно сказал:

– Как – что? Надо ехать дальше.

До Самары доехали «зайцами» на пассажирском, в Самаре нанялись на баржу, через семь дней почти благополучно доплыли до берегов Каспия и там пристроились к небольшой артели рыболовов на калмыцком грязном промысле Кабанкул-бай.

О первой любви

...Тогда же, судьба, – в целях воспитания моего, – заставила меня пережить трагикомические волнения первой любви.

Компания знакомых собралась кататься на лодках по Оке, мне поручили пригласить на прогулку супругов К. – они недавно приехали из Франции, но я еще не был знаком с ними. Я пошел к ним вечером.

Жили они в подвале старого дома, против него, не просыхая всю весну и почти все лето, распростерлась во всю ширину улицы грязная лужа; вороны и собаки пользовались ею как зеркалом, свиньи брали в ней ванны.

Находясь в состоянии некоторой задумчивости, я ввалился в квартиру незнакомых мне людей подобно камню, скатившемуся с горы, и вызвал странное смятение обитателей ее. Предо мною, заткнув дверь в следующую комнату, сумрачно встал толстенький, среднего роста человек, с русской окладистой бородой и добрым взглядом голубых глаз.

Оправляя костюм, он неласково спросил:

– Что вам угодно?

И поучительно добавил:

– Раньше, чем войти, – нужно стучать в дверь!

За его спиною, в сумраке комнаты, металось и трепетало

что-то, похожее на большую белую птицу, и прозвучал звонкий, веселый голос:

– Особенно, – если входите к женатым людям. . .

Я сердито спросил: те ли они люди, кого мне нужно? И когда человек, похожий на благополучного лавочника, ответил утвердительно, – объяснил ему, зачем я пришел.

– Вас прислал Кларк, говорите? – солидно и задумчиво поглаживая бороду, осведомился мужчина и в ту же минуту вздрогнул, повернулся волчком, болезненно восклицая:

– Ой, Ольга!

По судорожному движению его руки мне показалось, что его ущипнули за ту часть тела, о которой не принято говорить, – очевидно, потому, что она помещается несколько ниже спины.

Держась за косяки, на его место встала стройная девушка, с улыбкой рассматривая меня синеватыми глазами.

– Вы – кто? Полицейский?

– Нет, это только штаны, – вежливо ответил я, а она засмеялась.

Не обидно, ибо в глазах ее сияла именно та улыбка, которую я давно ожидал. Видимо – смех ее был вызван моим костюмом; на мне были синие шаровары городского, а вместо рубахи, я носил белую куртку повара; – это очень практичная вещь: она ловко играет роль пиджака и, застегиваясь на крючки до горла, не требует рубашки. Чужие охотничьи сапоги и широкая шляпа итальянского бандита великолепно

завершали мой костюм.

Втащив меня за руку в комнату, толкнув к стулу, она спросила, стоя предо мной:

– Почему вы так смешно одеты?

– Почему – смешно?

– Не сердитесь, – дружески посоветовала она.

Очень странная девушка, – кто может сердиться на нее?

Бородатый мужчина, сидя на кровати, свертывал папиросы. Я спросил, указав глазами на него:

– Это – отец или брат?

– Муж! – убежденно ответил он.

– А что? – смеясь, спросила она.

Подумав, рассматривая ее, я сказал:

– Извините!

В таком лаконическом тоне беседа продолжалась минут пять, но я чувствовал себя способным неподвижно сидеть в этом подвале пять часов, дней, лет, глядя на узкое, овальное личико дамы и в ее ласковые глаза. Нижняя губа маленького рта ее была толще верхней, точно припухла; густые волосы каштанового цвета коротко обрезаны и лежат на голове пышной шапкой, осыпая локонами розовые уши и нежно-румяные девичьи щеки. Очень красивы руки ее, – когда она стояла в двери, держась за косяки, я видел их голыми до плеча. Одета она как-то особенно просто – в белую кофточку с широкими рукавами в кружевах и в белую же ловко сшитую юбку. Но самое замечательное в ней – ее синеватые гла-

за: они лучатся так весело, ласково, с таким дружеским любопытством. И – это несомненно! – она улыбается той самой улыбкой, которая совершенно необходима сердцу человека двадцати лет от роду, сердцу, обиженному грубостью жизни.

– Сейчас хлынет дождь, – сообщил ее муж, окуривая бороду свою дымом папиросы.

Я взглянул в окно: на безоблачном небе разгорались звезды. Тогда я понял, что мешаю этому человеку, и ушел в настроении тихой радости, как после встречи с тем, чего давно уже и тайно от себя искал.

Всю ночь ходил по полю, бережно любясь ласковым сиянием синеватых глаз, и на рассвете был непоколебимо убежден, что эта маленькая дама совершенно неподходящая супруга для бородатого увальня с добрыми глазами сытого ко-та. Мне даже жалко стало ее – бедная! Жить с человеком, у которого в бороде прячутся хлебные крошки...

А на другой день мы катались по мутной Оке, под крутым берегом из широких пластов разноцветных мергелей. День был самый лучший от сотворения мира, изумительно сверкало солнце в празднично-ярком небе, над рекою носился запах созревшей земляники, все люди вспомнили, что они действительно прекрасные люди, и это насытило меня веселой любовью к ним. Даже муж дамы моего сердца оказался замечательным человеком – он сел не в ту лодку, где сидела его жена и где я был гребцом, – весь день он вел себя идеально умно, – сначала рассказал всем страшно много инте-

ресного о старике Гладстоне, а потом выпил крынку превосходного молока, лег под куст и вплоть до вечера спал спокойным сном ребенка.

Разумеется, наша лодка приехала первой на место пикника; когда я на руках выносил мою даму с лодки, она сказала.

– Какой вы силач!

Я чувствовал себя в состоянии опрокинуть любую колокольню города, и сообщил даме, что могу нести ее на руках до города – семь верст³. Она тихонько засмеялась, обласкала меня взглядом, весь день передо мною сияли ее глаза, и, конечно, я убедился, что они сияют только для меня.

Дальше все пошло с быстротой, вполне естественной для женщины, которая впервые встретила невиданного ею интересного зверя, и для здорового юноши, которому необходима ласка женщины.

Вскоре я узнал, что она, несмотря на свою внешность девушки, старше меня на десять лет, воспитывалась в Белостокском институте «благородных девиц», была невестой коменданта Зимнего дворца, жила в Париже, училась живописи и выучилась акушерству. Далее оказалось, что ее мать тоже акушерка и принимала меня в час моего рождения, – в этом факте я усмотрел некое предопределение и страшно обрадовался.

Знакомство с богемой и эмигрантами, связь с одним из них, затем полукочевая, полуголодная жизнь в подвалах и

³ Вероятно – не донес бы.

на чердаках Парижа, Петербурга, Вены, – все это сделало институтку человеком забавно спутанным, на редкость интересным. Легкая, бойкая, точно синица, она смотрела на жизнь и людей с острым любопытством умного подростка, задорно распевала французские песенки, красиво курила папиросы, искусно рисовала, недурно играла на сцене, умела ловко шить платья, делать шляпы. Акушерством она не занималась.

– У меня было четыре случая практики, но они дали семьдесят пять процентов смертности, – говорила она.

Это оттолкнуло ее навсегда от косвенной помощи делу умножения людей, – о ее прямом участии в этом деле свидетельствовала дочь ее, – милый и красивый ребенок лет четырех. О себе она рассказывала тем тоном, каким говорят о человеке, когда его хорошо знают и он уже достаточно надоел. Но иногда она как-будто удивлялась, говоря о себе, ее глаза красиво темнели и светились, в них мелькала легкая улыбка смущения, – так улыбаются сконфуженные дети.

Я хорошо чувствовал ее острый, цепкий ум, понимал, что она культурно выше меня, видел ее добросердечно-снисходительное отношение к людям; она была несравненно интереснее всех знакомых барышень и дам; небрежный тон ее рассказов удивлял меня, и мне казалось: этот человек, зная все, что знают мои революционно-настроенные знакомые, знает что-то сверх этого, что-то более ценное, но – она смотрит на все издали, со стороны, наблюдая, с улыбкой взросло-

го, пережитые им милые, хотя порою опасные забавы детей.

Подвал, в котором она жила, делился на две комнаты: маленькую кухню она же служила и прихожей – и большую комнату в три окна на улицу, два на сорный грязный двор. Это было удобное помещение для мастерской сапожника, но не для изящной маленькой женщины, которая жила в Париже, в священном доме Великой революции, в городе Мольера, Бомарше, Гюго и других ярких людей. Было еще много несоответствий картины с рамой, – все они жестоко раздражали меня, вызывая – кроме прочих чувств – сострадание к женщине. Но сама она как бы не замечала ничего, что – на мой взгляд должно было оскорблять ее.

С утра до вечера она работала, утром – за кухарку и горничную, потом садилась за большой стол под окнами и весь день рисовала карандашом – с фотографии – портреты обывателей, чертила карты, раскрашивала картограммы, помогала составлять мужу земские сборники по статистике. Из открытого окна на голову ей и на стол сыпалась пыль улицы, по бумагам скользили толстые тени ног прохожих. Работая, она пела, а утомясь сидеть – вальсировала со стулом или играла с девочкой и, несмотря на обилие грязной работы, всегда была чистоплотна, точно кошка.

Ее супруг был благодушен и ленив. Он любил читать – лежа в постели переводные романы, особенно Дюма-отца. – Это освежает клетки мозга, говорил он. Ему нравилось рассматривать жизнь «с точки зрения строго научной». Обед он

называл приемом пищи, а пообедав, говорил:

– Подвоз пищевой кашицы из желудка клеткам организма требует абсолютного покоя.

И, забыв вытряхнуть крошки хлеба из бороды, ложился в постель, несколько минут углубленно читал Дюма или Ксавье де-Монтепена, а потом часа два лирически посвистывал носом, светлые мягкие усы его тихо шевелились, как-будто в них ползало нечто невидимое. Проснувшись, он долго и задумчиво смотрел на трещины потолка и – вдруг вспоминал:

– А ведь Кузьма неправильно истолковал вчера мысль Парнеля.

И шел уличать Кузьму, говоря жене:

– Ты, пожалуйста, докончи за меня подсчет безлошадных Майданской волости. Я – скоро!

Возвращался он около полуночи, иногда – позднее, очень довольный.

– Ну, знаешь, доконал я сегодня Кузьму! У него, шельмеца, память на цитаты очень развита, но я ему и в этом не уступлю. Между прочим, он совершенно не понимает восточной политики Гладстона, чудак!

Он постоянно говорил о Бинэ, Рише и гигиене мозга, а в дурную погоду, оставаясь дома, занимался воспитанием девочки его жены.

– Леля, – когда ты кушаешь, нужно тщательно жевать, это облегчает пищеварение, помогая желудку быстрее претворить пищевую кашицу в удобоусвояемый конгломерат хими-

ческих веществ.

После же обеда, приведя себя «в состояние абсолютного покоя», укладывал ребенка на постель и рассказывал ему:

– Итак, – когда кровожадный честолюбец Бонапарте узурпировал власть...

Жена его судорожно, до слез хохотала, слушая эти лекции, но он не сердился на нее, не имея для этого времени, ибо скоро засыпал. Девочка, поиграв его шелковой бородою, тоже засыпала, свернувшись комочком. Я очень подружился с нею, она слушала мои рассказы с большим интересом, чем лекции Болеслава о кровожадном узурпаторе и печальной любви к нему Жозефины Богарнэ, – это возбудило у Болеслава забавное чувство ревности:

– Я – протестую, Пешков! Сначала ребенку необходимо внушить основные принципы отношения к действительности, а потом уже знакомить с нею. Если б вы знали английский язык и могли прочесть «Гигиену души ребенка»...

Он знал по-английски, кажется, только два слова: гуд бай.

Он был вдвое старше меня, но обладал любопытством юного пуделя, любил посплетничать и показать себя человеком, которому хорошо известны все тайны не только русских, но и зарубежных революционных кружков. Впрочем, возможно, что он и на самом деле был осведомлен, – к нему нередко приезжали таинственные люди, они все держались как актеры-трагики, которым случайно пришлось играть роли простаков. У него я видел нелегального Сабунаева в ры-

жем, неумело надетом парике, в пестром костюме, который был смешно узок и короток ему.

А однажды, придя к Болеславу, я увидел у него юркого человечка с маленькой головкой, очень похожего на парикмахера, – он был одет в клетчатые брючки, серенький пиджачок и скрипучие ботинки. Вытеснив меня в кухню, Болеслав шопотом сказал:

– Это человек из Парижа, с важным поручением, ему необходимо видеть Короленко, так вы идите, устройте это...

Я пошел, – но оказалось, что Короленко показали приезжего на улице, и В. Г. проницательно заявил:

– Нет, пожалуйста, не знакомьте меня с этим хлыщом!

Болеслав обиделся за парижанина и «дело революции», два дня сочинял письмо Короленко, испробовал все стили, от гневного и сурового до ласкового-укоряющего, и потом сжег образцы эпистолярной литературы своей на шестке печи. Вскоре начались аресты в Москве, Нижнем, Владимире, и оказалось, что человек в клетчатых брючках – знаменитый, впоследствии, Ландезен-Гартинг, первый – по порядку – провокатор, которого я видел.

А за всем этим муж возлюбленной моей был добрый малый, несколько сентиментальный и комически обремененный «научным багажем». Он так и говорил:

– Смысл жизни интеллигента – непрерывное накопление научного багажа в целях бескорыстного распределения его в толщах народной массы.

Моя любовь, углубляясь, превращалась в страдание. Сидел я в подвале, глядя, как, согнувшись над столом, работает дама моего сердца, и мрачно пьянел от желания взять ее на руки, унести куда-то из проклятого подвала, загроможденного широкой двухспальной кроватью, старинным тяжелым диваном, где спала девочка, столами, на которых лежали груды пыльных книг и бумаг. Мимо окон нелепо мелькают чьи-то ноги, иногда в окно заглядывала морда бездомной собаки; душно, с улицы льется запах грязи, нагретой солнцем, — маленькая девичья фигурка, тихонько напевая, скрипит карандашом или пером, мне ласково улыбаются милые васильковые глаза. Я люблю эту женщину до бреда, до безумия и жалею ее до злобной тоски.

— Расскажите еще что-нибудь про себя, — предлагает она.

Рассказываю, но через несколько минут она говорит:

— Это вы не про себя говорите.

Я и сам понимаю, что все, о чем я говорил, еще — не я, а нечто, в чем я слепо запутался. Мне нужно найти себя в пестрой путанице впечатлений и приключений, пережитых мною, но я не умел и боялся сделать это. Кто и что — я? Меня очень смущал этот вопрос. Я был зол на жизнь, — она уже внушила мне унижительную глупость попытки самоубийства. Я не понимал людей, их жизнь казалась мне неоправданной, глупой, грязной. Во мне бродило изощренное любопытство человека, которому зачем-то необходимо

заглянуть во все темные уголки бытия, в глубину всех тайн жизни, и, порою, я чувствовал себя способным на преступление из любопытства, – готов был убить, только для того, чтобы знать: что же будет со мною потом?

Мне казалось, что если я найду себя, – перед женщиной сердца моего встанет человек отвратительный, запутанный густой крепкой сетью каких-то странных чувств и мыслей, бредовой, кошмарный человек, он испугает ее и оттолкнет. Мне нужно было что-то сделать с собою. Я был уверен, что именно эта женщина способна помочь мне не только почувствовать настоящего себя, но она может сделать нечто волшебное, после чего я тотчас освобожусь из плена темных впечатлений бытия, что-то навсегда выброшу из своей души, и она вспыхнет огнем великой силы, великой радости.

И небрежный тон, которым она говорила о себе, и ее снисходительное отношение к людям внушили мне уверенность, что этот человек знает необыкновенное. У нее есть свой ключ ко всем загадкам жизни, от этого она всегда веселая, всегда уверена в себе. Может быть, я любил ее всего больше за то, чего не понимал в ней, но я любил ее со всей силой и страстью юности. Мучительно трудно было мне сдерживать эту страсть, она уже физически сжигала и обессиливала меня. Для меня было бы лучше, будь я проще, грубее, но – я верил, что отношения к женщине не ограничиваются тем актом физиологического слияния, который я знал в его нищенски-грубой, животное-простой форме, – этот акт внушал

мне почти отвращение, несмотря на то, что я был сильный, довольно чувственный юноша и обладал легко возбудимым воображением.

Не понимаю, как могла сложиться и жить во мне эта романтическая мечта, но я был непоколебимо уверен, что за тем, что известно мне, есть нечто неведомое, и в нем скрыт высокий, тайный смысл общения с женщиной, что-то великое, радостное и даже страшное таится за первым объятием, испытав эту радость, человек совершенно перерождается.

Мне кажется, – я вынес эти фантазии не из романов, прочитанных мною, но воспитал и развил их из чувства противоречия действительности, ибо:

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться».

Кроме этого у меня было странное, смутное воспоминание:

– Где-то – за пределами действительного и когда-то в раннем детстве, я испытал некий сильный взрыв души, сладостный трепет ощущения – вернее предчувствие – гармонии, пережил радость, светлейшую солнца на утре, на восходе его. Может быть, это было еще в те дни, когда я жил во чреве матери, и этот счастливый взрыв ее нервной энергии передался мне жарким толчком, который создал душу мою и впервые зажег ее к жизни, может быть, это потрясающий момент счастья матери моей отразился во мне на всю мою жизнь трепетным ожиданием необыкновенного от женщины.

Когда не знаешь – выдумываешь, и самое умное, чего до-

стиг человек, это – умение любить женщину, поклоняться ее красоте, – от любви к женщине родилось все прекрасное на земле.

–

Однажды, купаясь, я прыгнул с кормы баржи в воду, ударился грудью о наякорник, зацепился ногою за канат, повис в воде вниз головой и захлебнулся. Ломовой извозчик вытащил меня, откачали, изорвав мне всю кожу, у меня пошла кровь, и я должен был лечь в постель, глотая лед.

Ко мне пришла моя дама, села на койку и, расспрашивая, как все это случилось со мною, стала гладить мне голову, легкой милой рукой, а глаза ее, потемнев, смотрели тревожно.

Я спросил: видит ли она, что я люблю ее?

– Да, – сказала она, улыбаясь осторожно, – вижу и, это очень плохо, хотя я тоже полюбила вас.

Разумеется, после ее слов вся земля вздрогнула, и деревья в саду закружились веселым хороводом. Я онемел от неожиданности, изумления и восторга, ткнулся головою в колени ей и, если бы не обнял ее крепко, то наверное вылетел бы в окно, как мыльный пузырь.

– Не двигайтесь, это вредно вам, – строго заметила она, пытаясь переложить мою голову на подушку. – И не волнуйтесь, а то я уйду. Вы, вообще, очень безумный господин, я не думала, что такие бывают. О наших чувствах и отношениях мы поговорим, когда вы встанете на ноги.

Все это она говорила очень спокойно и невыразимо ласко-

во улыбалась потемневшими глазами. Она скоро ушла, оставив меня в радужном огне надежд, в счастливой уверенности, что теперь с ее доброй помощью я окрыленно вознесусь в сферу иных чувств и мыслей.

Через несколько дней я сидел в поле на краю оврага, – внизу, в кустарнике, шелестел ветер. Серое небо грозило дождем, – деловито серыми словами женщина говорила о разнице наших лет, о том, что мне нужно учиться и что преждевременно для меня вешать на шею себе жену с ребенком. Все это было угнетающе верно, говорилось тоном матери и еще более возбуждало любовь, уважение к милой женщине. Мне было грустно и сладко слушать ее голос, нежные ее слова, – впервые со мною говорили так.

Я смотрел в пасть оврага, где кусты, колеблемые ветром, текли зеленой рекой, и клятвенно обещал себе заплатить этому человеку за ласку его всеми силами моей души.

– Прежде чем решить что-либо, нам нужно хорошо подумать, – слышал я тихий голос. Она стегала себя по колену сорванной веткой орешника, глядя в сторону города, спрятанного в зеленых холмах садов.

– И, конечно, я должна поговорить с Болеславом, – он уже кое-что чувствует и ведет себя очень нервозно. А я не люблю драм.

Все было очень грустно и очень хорошо, – но оказалось необходимым нечто пошленькое и смешное.

Шаровары мои были широки в поясе, и я скалывал пояс

большой медной булавкой, дюйма три длиной, – теперь нет таких булавок к счастью влюбленных бедняков. Острый кончик проклятой булавки все время деликатно царапал кожу мне, – неосторожное движение – и вся булавка впилась в мой бок. Я сумел незаметно вытащить ее и с ужасом почувствовал, что из глубокой царапины обильно потекла кровь, смачивая шаровары. Нижнего белья у меня не было, а курточка повара – коротенькая, по пояс. Как я встану и пойду в мокрых шароварах, приклеенных к телу?

Понимая комизм случая, глубоко возмущенный его обидной формой, я, в диком возбуждении, начал говорить что-то неестественным голосом актера, который забыл свою роль.

Послушав несколько минут мою речь, сначала – внимательно, потом – с явным недоумением, она сказала:

– Какие пышные слова! Вы вдруг стали не похожи на себя.

Это окончательно поразило меня, и я замолчал, как удивленный.

– Пора итти, собирается дождь.

– Я останусь здесь.

– Почему?

Что я мог ответить ей?

– Вы рассердились на меня? – ласково заглянув в лицо мое, спросила она.

– О, нет! На себя.

– И на себя не надо сердиться, – посоветовала женщина, встав на ноги.

А я – не мог встать, сидя в теплой луже, – мне казалось, что кровь моя, вытекая из бока, журчит ручьем, – в следующую секунду женщина услышит этот звук и спросит:

– Что это?

– Уйди! – мысленно молил я ее.

Она милостиво подарила мне еще несколько ласковых слов и пошла вдоль оврага, по краю его, мило покачиваясь на стройных ножках. Я следил, как ее гибкая фигурка, удаляясь, уменьшается, и потом лег на землю, опрокинутый ударом сознания, что моя первая любовь будет несчастлива.

Конечно, так и случилось: ее супруг пролил широкий поток слез, сентиментальных слюней, жалких слов, и она не решилась переплыть на мою сторону через этот липкий поток.

– Он такой беспомощный. А вы – сильный! – со слезами на глазах сказала она. – Он говорит: если ты уйдешь от меня, – я погибну, как цветок без солнца.

Я расхохотался, вспомнив коротенькие ножки, женские бедра, круглый, арбузиком, живот цветка. В бороде его жили мухи, – там всегда была пища для них.

Она, улыбаясь, заметила:

– Да, это смешно сказано, а все-таки, ему очень больно.

– Мне – тоже.

– О, вы молодой, вы сильный...

Тут, кажется, впервые я почувствовал себя врагом слабых людей. Впоследствии, в более серьезных случаях, мне весьма часто приходилось наблюдать, как трагически беспомощны

сильные в окружении слабых, как много тратится ценнейшей энергии сердца и ума для того, чтобы поддержать бесплодное существование осужденных на гибель.

Вскоре, полубольной, в состоянии, близком безумию, я ушел из города и почти два года шатался по дорогам России, как перекасти-поле. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ, пережил неисчислимо много различных впечатлений, приключений, огрубел, обозлился еще более, и все-таки сохранил нетленно в душе милый образ этой женщины, хотя видел лучших и умнейших ее.

А когда, через два слишком года, осенью, в Тифлисе, мне сказали, что она приехала из Парижа и, узнав, что я живу в одном городе с нею, обрадовалась, я, двадцатитрехлетний крепкий юноша, первый раз в жизни упал в обморок.

Я не решился пойти к ней, но вскоре она сама, через знакомых, пригласила меня.

Мне показалось, что она еще красивее и милее. Все та же фигура девушки, тот же нежный румянец щек и ласковое сияние васильковых глаз. Муж ее остался во Франции, с нею была только дочь, бойкая и грациозная, точно козленок.

Когда я пришел к ней, – над городом с громом и молниями понеслась буря, загудел ливень, по улице, с горы св. Давида, стремительно катилась мощная река, выворачивая камни улицы. Вой ветра, сердитый плеск воды, грохот каких-то разрушений сотрясал дом, дребезжали стекла в окнах, комната наливалась синим огнем и как будто все кругом падало

в бездонную мокрую пропасть.

Испуганная девочка зарылась в постель, а мы стояли у окна, ослепляемые взрывами неба и говорили – почему-то – шопотом.

– Впервые вижу такую грозу, – шелестели рядом со мною слова любимой женщины.

И вдруг она спросила:

– Ну, что же? – вылечились вы от любви ко мне?

– Нет.

Она видимо удивилась и все так же шопотом сказала:

– Боже мой! как изменились вы! Совершенно другой человек.

Медленно опустилась в кресло у окна, вздрогнула, зажмурилась, ослепленная жутким блеском молнии, и шепчет:

– О вас много говорят здесь. Зачем вы пришли сюда? Расскажите мне, как вам жилось?

Господи, какая она маленькая и хорошая вся!

Я рассказывал ей до полуночи, как бы исповедуясь. Грозные явления природы всегда действуют на меня возбуждающе хорошо – в этом убеждало меня ее внимание и напряженный взгляд широко раскрытых глаз. Лишь иногда она шептала:

– Это ужасно!

Уходя, я заметил, что она простилась со мною без той покровительственной улыбки старшего, которая – в прошлом – всегда немножко обижала меня. Шел я по мокрым улицам,

глядя, как острый серп луны режет изорванные облака, и у меня кружилась голова от радости. На другой день я послал ей почтой стихи, – она впоследствии часто декламировала их, и они укрепились в памяти моей:

Сударыня!

За ласку, за нежный взгляд

Отдается в рабство ловкий фокусник,

Которому тонко известно

Забавное искусство

Создавать маленькие радости

Из пустяков, из ничего!

Возьмите веселого раба!

Может быть, из маленьких радостей

Он создает большое счастье,

Разве кто-то не создал весь мир

Из ничтожных пылинок материй?

О, да! Мир создан не весело:

Скупы и жалки радости его!

Но все-таки в нем есть не мало забавного,

Например: Ваш покорный слуга,

И – есть в нем нечто прекрасное

Это я говорю о Вас!

Вы!

Но – молчание!

Что значат тупые гвозди слов

В сравнении с вашим сердцем

*Лучшим из всех цветов
Бедной цветами земли?*

Конечно, это едва ли стихи, но это было сделано с веселою искренностью.

Вот я снова сижу против человека, который кажется мне лучшим в мире и поэтому – необходимым для меня. На ней – голубое платье; не скрывая изящных очертаний ее фигуры, оно окутало ее мягким, душистым облаком. Играя кистями пояса, она говорит мне необыкновенные слова – я слежу за движением ее маленьких пальцев с розовыми ногтями и чувствую себя скрипкой, которую любовно настраивает искусный музыкант. Мне хочется умереть, хочется как-то вдохнуть в душу себе эту женщину, чтоб навсегда осталась там. Тело мое поет в томительном напряжении, сильном до боли, и мне кажется, что у меня сейчас взорвется сердце.

Я прочитал ей мой первый рассказ, только что напечатанный, – но не помню, как она оценила его, – кажется, она удивилась:

– Вот как, вы начали писать прозу!

Как сквозь сон откуда-то издали я слышу:

– Много думала я о вас эти годы. Неужели это из-за меня пришлось вам испытать так много тяжелого?

Я говорю ей что-то о том, что в мире, где живет она, нет ничего тяжелого и страшного.

– Какой вы милый...

Мне до безумия хочется обнять ее, но у меня идиотски длинные нелепые тяжелые руки, я не смею коснуться тела ее, боюсь сделать ей больно, стою перед нею, и, качаясь под буйными толчками сердца, бормочу:

– Живите со мной! пожалуйста, живите со мной!

Она смеется тихонько и – смущенно. Ослепительно светятся ее милые глаза. Она уходит в угол комнаты и говорит оттуда:

– Сделаем так: вы уезжайте в Нижний, а я останусь здесь, подумаю и напишу вам...

Почтительно кланяюсь ей, как это сделал герой какого-то романа, прочитанного мною, и ухожу. По воздуху.

–

Зимою она, с дочерью, приехала ко мне в Нижний.

«Бедному жениться – и ночь коротка», насмешливо-печально говорит мудрость народа. Я проверил личным опытом глубокую правду этой пословицы.

Мы сняли за два рубля в месяц особняк, – старую баню в саду попа. Я поселился в предбаннике, а супруга в самой бане, которая служила и гостиной. Особнячек был не совсем пригоден для семейной жизни, – он промерзал в углах и по полам. Ночами, работая, я окутывался всей одеждой, какая была у меня, а сверх ее – ковром и все-таки приобрел серьезнейший ревматизм. Это было почти сверхестественно при моем здоровье и выносливости, которыми я в ту пору обладал и хвастался.

В бане было теплее, но когда я топил печь, все наше жилище наполнялось удушливым запахом гнили, мыла и пареных веников. Девочка, изящная фарфоровая куколка с чудесными глазами, нервничала, у нее болела голова.

А весной баню начали во множестве посещать пауки и мокрицы, – мать и дочь до судорог боялись их, и я часами должен был убивать насекомых резиновой галошей. Маленькие окна густо заросли кустами бузины и одичавшей малины, в комнате всегда было сумрачно, а пьяный капризный поп не позволял мне выкорчевать или хотя бы подрезать кусты.

Разумеется, можно бы найти более удобное жилище, но мы задолжали попу, и я очень нравился ему, – он не выпускал нас.

– Привыкнете! – говорил он. – А то, заплатите долгишки и поезжайте хоша бы к англичанам.

Он не любил англичан, утверждая:

– Это нация ленивая, она ничего не выдумала, кроме паянсов, и не умеет воевать.

Был он человечеще огромный, с круглым красным лицом и широкой рыжей бородой, пьянствовал так, что уже не мог служить в церкви, и – до слез страдал от любви к маленькой остроносой и черной швейке, похожей на галку.

Рассказывая мне о коварствах ее, он смахивал ладонью слезы с бороды и говорил:

– Понимаю, – негодяйка она, но напоминает мне велико-

мученицу Фемиаму, и за то – люблю!

Я внимательно просмотрел святцы, – святой такого имени не было в них.

Возмущаясь моим неверием, он сотрясал душу мою такими доводами в пользу веры:

– Вы, сынок, взгляните на это практически: неверов – десятки, верующих же – миллионы. А – почему? Потому, что как рыба сия не может существовать без воды, так ровно и душа не живет вне церкви. Доказательно? Посему – выпьем!

– Я не пью, у меня ревматизм.

Вонзив вилку в кусок селедки, он угрожающе поднимал ее вверх и говорил:

– И это – от неверия.

Мне было мучительно, до бессонницы стыдно пред женщиной за эту баню, за частую невозможность купить мяса на обед, игрушку девочке, за всю эту проклятую, ироническую нищету. Нищета – порок, который меня лично не смущал и не терзал, но для маленькой изящной институтки и, особенно, для дочери ее – эта жизнь была унижительна, убийственна.

По ночам, сидя в своем углу за столом, переписывая прошения, апелляционные и кассационные жалобы, сочиняя рассказы, я скрипел зубами и проклинал себя, людей, судьбу, любовь.

Женщина держалась великодушно, точно мать, когда она не хочет, чтобы сын видел, как трудно ей. Ни одной жало-

бы не сорвалось с ее губ на эту подлую жизнь; чем труднее слагались условия жизни, тем бодрей звучал ее голос, веселее – смех. С утра до вечера она рисовала портреты попов, их усопших жен, чертила карты уездов, – за эти карты земство получило на какой-то выставке золотую медаль. А когда иссякли заказы на портреты, она делала из лоскутов разных материй, соломы и проволоки самые модные парижские шляпы для девиц и дам нашей улицы. Я ничего не понимал в женских шляпах, но, очевидно, в них скрывалось что-то уморительно-комическое, – мастерица, примеряя перед зеркалом сделанный ею фантастический головной убор, задыхалась в судорожном смехе. Но я заметил, что эти шляпы странно влияют на заказчиц, – украсив головы свои пестрыми гнездами для кур, они ходили по улицам, как-то особенно гордо выпячивая животы.

Я работал у адвоката и писал рассказы для местной газеты по две копейки за строку. Вечерами, за чаем, – если у нас не было гостей, – моя супруга интересно рассказывала мне о том, как царь Александр II посещал Белостокский институт, оделял благородных девиц конфетами, от них некоторые девицы чудесным образом беременели, и не редко та или иная красивая девушка исчезала, уезжая на охоту с царем в Беловежскую пушу, а потом выходила замуж в Петербурге.

Моя жена увлекательно рассказывала мне о Париже; я уже знал его по книгам, особенно по солидному труду Максима дю-Кан, она изучала Париж по кабачкам Монмартра и сума-

тошной жизни Латинского квартала. Эти рассказы возбуждали меня сильнее вина, и я сочинял какие-то гимны женщине, чувствуя, что именно силою любви к ней сотворена вся красота жизни.

Больше всего нравились мне и увлекали меня рассказы о романах, пережитых ей самой, – она говорила об этом удивительно интересно, с откровенностью, которая – порою – сильно смущала меня. Посмеиваясь, легкими словами, точно штрихи тонко заостренного карандаша, она вычерчивала комическую фигуру генерала Ребиндер, ее жениха, который, выстрелив в зубра прежде царя, закричал вслед раненому быку:

– Простите, Ваше Императорское Величество!

Рассказывала она о русских эмигрантах, и всегда в словах ее я чувствовал скрытую улыбку снисхождения к людям. Порою ее искренность нисходила до наивного цинизма, она вкусно облизывала губы острым, розовым языком кошки, а глаза ее блестели как-то особенно. Иногда мне казалось, что в них сверкает огонек брезгливости, но чаще я видел ее девочкой, самозабвенно играющей с куклами.

Однажды она сказала:

– Влюбленный русский всегда несколько многословен и тяжел, а не редко – противен красноречием. Красиво любить умеют только французы; для них любовь – почти религия.

После этого я невольно стал относиться к ней сдержаннее и бережливей.

О женщинах Франции она говорила:

– У них не всегда найдешь страстную нежность сердца, но они прекрасно заменяют ее веселой, тонко разработанной чувственностью, – любовь для них искусство.

Все это она говорила очень серьезно, поучающим тоном. Это были не совсем те знания, в которых я нуждался, но – все-таки это были знания, и я слушал ее с жадностью.

– Между русскими и француженками, вероятно, такая же разница, как между фруктами и фруктовыми конфетами, – сказала она однажды лунной ночью, сидя в беседке сада.

Сама она была конфетой. Ее страшно удивило, когда, в первые дни нашей супружеской жизни, я, – разумеется, вдохновенно, – изложил ей мои взгляды романтика на отношения мужчины и женщины.

– Это вы – серьезно? Вы действительно так думаете? – спросила она, лежа на руках у меня, в голубоватом свете луны.

Розовое тело ее казалось прозрачным, от него исходил хмельный, горьковатый запах миндаля. Ее тоненькие пальчики задумчиво играли гривой моих волос, она смотрела в лицо мне широко, тревожно раскрытыми глазами и улыбалась недоверчиво.

– А, Боже мой! – воскликнула она, спрыгнув на пол и стала задумчиво шагать по комнате из света в тень, сияя в луче луны атласом кожи, бесшумно касаясь пола босыми ногами. И, снова подойдя ко мне, глядя ладонями щеки мои, сказала

тоном матери:

– Вам нужно было начать жизнь с девушкой, – да, да! А не со мною...

Когда же я взял ее на руки, она заплакала, тихонько говоря:

– Вы чувствуете, как я люблю вас, да? Мне никогда не удалось испытать столько радости, сколько я испытываю с вами, – это правда, поверьте! Никогда я не любила так нежно и ласково, с таким легким сердцем. Мне удивительно хорошо с вами, но – все-таки, – я говорю: мы ошиблись, я не то, что нужно вам, не то! Это я ошиблась.

Не понимая ее, я был испуган ее словами и торопливо погасил ее настроение радостью ласк. Но все-таки эти странные слова остались в памяти моей. А спустя несколько дней, она, в слезах восторга, снова тоскливо повторила эти слова:

– Ах, если б я была девушкой!

Помню, в эту ночь по саду металась вьюга, в стекла окон стучали ветви бузины, в трубе волком выл ветер, в комнате у нас было темно, холодно и шелестели отклеившиеся обои.

–

Заработав несколько рублей, мы приглашали знакомых и устраивали великолепные ужины, – ели мясо, пили водку и пиво, ели пирожное и вообще наслаждались. Моя парижанка, обладая прекрасным аппетитом, любила русскую кухню: «сычуг» – коровий желудок, начиненный гречневой кашей и гусиным салом, пироги с рыбьими жирами и соминой, кар-

тофельный суп с бараниной.

Она организовала орден «жадныхеньких животиков», – десятков людей, которые, любя сытно поесть и хорошо выпить, эстетически тонко знали и красноречиво, неумолимо говорили о вкусных тайнах кухни, а я интересовался тайнами иного характера, ел мало, и процесс насыщения не увлекал меня, оставаясь вне моих эстетических потребностей.

– Это – пустые люди! – говорил я о «жадныхеньких животиках».

– Как всякий, если его хорошенько встряхнуть, – отвечала она. – Гейне сказал: «Все мы ходим голыми под нашим платьем».

Цитат скептического тона она знала много. Но – мне казалось – не всегда она удачно и уместно пользовалась ими.

Ей очень нравилось «встряхивать» ближних мужского пола, и она делала это весьма легко. Неугомонно веселая, остроумная, гибкая, как змея, она, быстро зажигая вокруг себя шумное оживление, возбуждала эмоции не очень высокого качества.

Достаточно было человеку побеседовать с нею несколько минут, и у него краснели уши, потом они становились лиловыми, глаза, томно увлажняясь, смотрели на нее взглядом козла на капусту.

– Магнитная женщина! – восхищался некий заместитель нотариуса, неудачник-дворянин, с бородавками Дмитрия Самозванца и животом объема церковной главы.

Белобрысый ярославский лицеист сочинял ей стихи, – всегда дактилем. Мне они казались отвратительными, она – хохотала над ними до слез.

– Зачем ты возбуждаешь их? – спрашивал я.

– Это так же интересно, как удить окуней. Это называется – кокетство. Нет ни одной женщины, уважающей себя, которая не любила бы кокетничать.

Иногда она спрашивала, улыбаясь, заглядывая в глаза мне:

– Ревнуешь?

Нет, я не ревновал, но – все это немножко мешало мне жить, – я не любил пошлых людей. Я был веселым человеком и знал, что смех – прекраснейшее свойство людей. Я считал клоунов цирка, юмористов открытых сцен и комиков театра бездарными людьми, уверенно чувствуя, что сам я мог бы смешить лучше их. И не редко мне удавалось заставлять наших гостей смеяться до боли в боках.

– Боже мой, – восхищалась она, – каким удивительным комиком мог бы ты быть! Иди на сцену, иди!

Сама она с успехом играла в любительских спектаклях, ее приглашали на сцену серьезные антрепренеры.

– Я люблю сцену, но – боюсь кулис, – говорила она.

Она была правдива в желаниях, мыслях и словах.

– Ты слишком много философствуешь, – поучала она меня. – Жизнь, в сущности, проста и груба; не нужно усложнять ее поисками какого-то особенного смысла в ней, нуж-

но только научиться смягчать ее грубость. Больше этого – не достигнешь ничего.

В ее философии я чувствовал избыток гинекологии, и мне казалось, что Евангелием ей служит «Курс акушерства».

Она сама рассказывала мне, как ошеломила ее какая-то научная книга, впервые которую прочитала она после института.

– Наивная девченка, я почувствовала удар кирпичем по голове; мне показалось, что меня сбросили с облаков в грязь, я плакала от жалости к тому, во что уже не могла верить, но скоро ощутила под собою, хотя жестокою, а – твердую почву. Всего более жалко было Бога, я так хорошо, близко чувствовала его, и – вдруг он рассеялся, точно дым папиросы, и вместе с ним исчезла мечта о небесном блаженстве любви. А все мы, в институте, так много думали, так хорошо говорили о любви.

Плохо действовал на меня ее институтско-парижский нигилизм. Бывало ночью, встав из-за стола, я шел смотреть на нее, – в постели она казалась еще меньше, изящнее, красивее, – смотрел – и с великой горечью думал о ее надломленной душе, запутанной жизни. И жалость к ней усиливала мою любовь.

Литературные вкусы наши непримиримо расходились: я с восторгом читал Бальзака, Флобера, ей больше нравились Поль Феваль, Октав Фейлье, Поль де-Кок и, особенно – «Девушка Жиро, моя супруга», – эту книгу она считала самой

остроумной, мне же она казалась скучной, как «Уложение о наказаниях». Несмотря на все это, наши отношения сложились очень хорошо, – мы не теряли интереса друг к другу, и не гасла страсть. Но на третий год совместной жизни я стал замечать в душе у меня что-то зловеще поскрипывает и – все звучнее, заметней. Я непрерывно, жадно учился, читал и – начал серьезно увлекаться литературной работой; мне все более мешали гости, люди мало интересные, они количественно разрастались, ибо я и жена стали зарабатывать больше и могли чаще устраивать обеды и ужины.

Ей жизнь казалась чем-то вроде паноптикума, а так как на мужчинах не было предостерегающей надписи: «просят ручками не трогать», то – иногда – она подходила к ним слишком неосторожно, они оценивали ее любопытство чересчур выгодно для себя, и на этой почве возникали недоразумения, которые я принужден был разрешать. Я делал это порою недостаточно сдержанно и – вероятно – всегда очень неумело; человек, которому я натрепал уши, жаловался на меня:

– Ну, хорошо, сознаюсь, я виноват! Но – драть меня за уши, – да что я, – мальчишка, что ли? Я почти вдвое старше этого дикаря, а он меня за уши треплет! Ну, ударил бы, все-таки это приличнее!

Очевидно – я не обладал искусством наказывать ближнего, в меру его самоуважения.

К моим рассказам жена относилась довольно равнодушно, но это нисколько не задевало меня – до некоторой поры:

я сам тогда еще не верил, что могу быть серьезным литератором, и смотрел на мою работу в газете только как на средство к жизни, хотя уже нередко испытывал приливы горячей волны какого-то странного самозабвения. Но, однажды утром, когда я читал ей в ночь написанный рассказ «Старуха Изергиль», она крепко уснула. В первую минуту это не обидело меня, я только перестал читать и задумался, глядя на нее.

Склонив на спинку дряхлого дивана маленькую, милую мне голову, приоткрыв рот, она дышала ровно и спокойно, как ребенок. Сквозь ветви бузины в окно смотрело утреннее солнце, золотые пятна, точно какие-то воздушные цветы, лежали на груди и коленях женщины.

Я встал и тихонько вышел в сад, испытывая боль глубокого укола обиды, угнетенный сомнением в моих силах.

За все дни, прожитые мною, я видел женщин только в тяжелом, рабском труде, в грязи, в разврате, в нищете или в полумертвой, самодовольной пошлой сытости. Было у меня только одно прекрасное впечатление детства «Королева Марго», но от него отделял меня целый горный хребет иных впечатлений. Мне думалось, что история жизни Изергиль должна нравиться женщинам, способна возбудить в них жажду свободы, красоты. И – вот, самая близкая мне не тронута моим рассказом, – спит.

Почему? Не достаточно звучен колокол, отлитый жизнью в моей груди?

Эта женщина была принята сердцем моим вместо матери.

Я ожидал и верил, что она способна напоить меня пьяным медом, возбуждающим творческие силы, ждал, что ее влияние смягчит грубость, привитую мне на путях жизни.

Это было тридцать лет тому назад, и я вспоминаю об этом с улыбкой в душе. Но тогда неоспоримое право человека спать, когда ему хочется, очень огорчило меня.

—

Я верил: если говорить о грустном весело, печаль исчезнет.

И я подозревал, что в мире действует хитроумно некто, кому приятно любоваться страданиями людей; мне казалось, что существует некий дух, творец житейских драм, и ловко портит жизнь; — я считал невидимого драматурга личным моим врагом и старался не поддаваться его уловкам.

Помню, когда я прочитал в книге Ольденбурга «Будда, его жизнь, учение и община»: «Всякое существование — суть страдание», это глубоко возмутило меня, — я не очень много испытал радостей жизни, но горькие муки ее казались мне случайностью, а не законом. Внимательно прочитав солидный труд архиепископа Хрисанфа «Религия Востока», я еще более возмущенно почувствовал, что учения о мире, основанные на страхе, унынии, страдании совершенно неприемлемы для меня. И, тяжело пережив настроение религиозного экстаза, я был оскорблен бесплодностью этого настроения. Отвращение к страданию вызывало у меня органическую ненависть ко всяким драмам, и я не плохо научился

превращать их в смешные водевили.

Конечно, можно бы не говорить все это для того только, чтобы сказать: между мною и женщиной назревала «семейная драма», но оба мы дружно сопротивлялись развитию ее. Я немного пофилософствовал потому, что мне захотелось упомянуть о забавных извилинах пути, которым я шел на поиски самого себя.

Моя женщина – по веселой природе своей – тоже была неспособна к драматической игре дома, – к игре, которой так любят увлекаться чрезмерно «психологические» русские люди обоего пола.

Но – унылые дактили белобрысого лицеиста все-таки действовали на нее, как осенний дождь. Круглым, красивым почерком он тщательно исписывал листики почтовой бумаги и тайно совал их всюду – в книги, в шляпу, в сахарницу. Находя эти аккуратно сложенные листочки, я подавал их жене, говоря:

– Примите сию очередную попытку уязвить сердце ваше.

Вначале бумажные стрелы Купидона не действовали на нее, она читала мне длинные стихи, и мы единодушно хохотали, встречая памятные строки:

*Днями, ночами – я с вами вдвоем,
Все отражается в сердце моем:
Ручки движенье, кивок головы,
Горлинкой нежной воркуете вы,*

Ястребом – мысленно – вьюсь я над вами.

Но, однажды, прочитав такой доклад лицеиста, она задумчиво сказала:

– А мне его жалко!

Помню, – я пожалел не его, а она с этой минуты перестала читать дактили вслух.

Поэт, коренастый парень, старше меня года на четыре, был молчалив, очень пристрастен к спиртным напиткам и замечательно усидчив. Придя в праздник к обеду в два часа дня, он мог неподвижно и немощно сидеть до двух часов ночи. Он был, как и я, письмоводителем адвоката, весьма изумляя своего добродушного патрона рассеянностью, к работе относился небрежно и часто говорил сипловатым басом:

– Вообще, – все это ерунда!

– А что же не ерунда?

– Как вам сказать? – спрашивал он задумчиво, поднимая к потолку серые, скучные глаза, и – не говорил ничего больше. Он был как-то особенно тяжело и словно напоказ – скучен, это более всего раздражало меня. Напивался он медленно; пьяный иронически фыркал носом, – кроме этого, я ничего особенного не замечал в нем, ибо – существует закон, по силе которого, с точки зрения мужа, человек, ухаживающий за его женой, всегда плохой человек.

Откуда-то с Украины богатый родственник присылал лицеисту по пятьдесят рублей в месяц; – большие деньги в то

время. По праздникам лицеист приносил жене моей конфеты, а в день ее именин подарил ей часы-будильник, – бронзовый пень, а на нем сова терзает ужа.

Эта отвратительная машина всегда будила меня на час и семь минут раньше, чем следовало.

Жена, перестав кокетничать с лицеистом, начала относиться к нему с нежностью женщины, которая чувствует себя виновной в нарушении душевного равновесия мужчины. Я спросил, чем, по ее мнению, должна закончиться эта грустная история?

– Не знаю, – ответила она. – У меня нет определенного чувства к нему, но – мне хочется встряхнуть его. В нем заснуло что-то, и, кажется, я могла бы его разбудить.

Я знал, что она говорит правду, – ей всех и каждого хотелось разбудить, в этом она очень легко достигала успеха: разбудит ближнего – и в нем проснется скот. Я напоминал ей о Цирцее, но это не укрощало ее стремления «встряхивать» мужчин, и я видел, как вокруг меня постепенно разрастается стадо баранов, быков и свиней.

Знакомые великодушно рассказывали мне потрясающие мрачные легенды о семейном быте моем, а я был прямодушен, груб и предупреждал творцов легенд:

– Я буду бить вас.

Некоторые – лживо оправдывались, обижались – немногие и не очень. А женщина говорила мне:

– Поверь, грубостью ничего не достигнешь, только еще ху-

же станут говорить. Ведь ты – не ревнуешь?

Да, я был слишком молод и уверен в себе, для того, чтобы ревновать. Но – есть чувства, мысли и догадки, о которых говоришь только любимой женщине и не скажешь никому больше. Есть такой час общения с женщиной, когда становишься чужим самому себе и открываешь себя перед нею, как верующий перед Богом своим. Когда я представлял себе, что все это – очень и только мое – она в интимную минуту может рассказать кому-то другому, мне становилось тяжело, я чувствовал возможность чего-то очень похожего на предательство: может быть, это опасение и является корнем ревности?

Я чувствовал, что такая жизнь может вывихнуть меня с пути, которым я иду. Я уже начинал думать, что иного места в жизни, кроме литературы, нет для меня. В этих условиях невозможно было работать.

От крупных скандалов меня удерживало то, что на ходу жизни я выучился относиться к людям терпимо, не теряя, однако, ни душевного интереса, ни уважения к ним. Я уже и тогда видел, что все люди более или менее грешны перед неведомым богом совершенной правды, а перед человеком особенно грешат признанные праведники. Праведники – ублюбки от соития порока с добродетелью, и соитие это не является насилием порока над добродетелью – или наоборот, – но естественный результат их законного брака, в котором ироническая необходимость играет роль попа. Брак же есть таинство, силою которого две яркие противоположно-

сти, – соединяясь, – рожают почти всегда унылую посредственность. В ту пору мне нравились парадоксы, как мороженое маленькому мальчику – острота их возбуждала меня, как хорошее вино, и парадоксальность слов всегда сглаживала грубые обидные парадоксы фактов.

– Мне кажется, будет лучше, если я уеду, – сказал я жене.

Подумав, она согласилась:

– Да, ты прав! Эта жизнь – не по тебе, я понимаю!

Мы оба немножко и молча погрустили, крепко обняв друг друга, и я уехал из города, а вскоре уехала и она, поступив на сцену. Так кончилась история моей первой любви, – хорошая история, несмотря на ее плохой конец.

Недавно моя первая женщина умерла.

В похвалу ей скажу: это была настоящая женщина!

Она умела жить тем, что есть, но каждый день для нее был кануном праздника, она всегда ждала, что завтра на земле расцветут новые, необыкновенные цветы, откуда-то придут необычно интересные люди, разыграются удивительные события.

Относясь к невзгодам жизни насмешливо, полупрезрительно, она отмахивалась от них, точно от комаров, и всегда в душе ее трепетала готовность радостно удивиться. Но это уже не наивные восхищения институтки, а здоровая радость человека, которому нравится пестрая суета жизни, трагикомически запутанные связи людей, поток маленьких событий, которые мелькают, как пылинки в луче солнца.

Не скажу, чтобы она любила ближних, – нет, но ей нравилось рассматривать их. Иногда она ускоряла или усложняла развитие будничных драм между супругами или влюбленными, искусно возбуждая ревность одних, способствуя сближению других, – эта небезопасная игра очень увлекала ее.

– «Любовь и голод правят миром», а философия – несчастье его, – говорила она. – Живут для любви, это самое главное дело жизни.

Среди наших знакомых был чиновник государственного банка: длинный, тощий, он ходил медленной и важной походкой журавля, тщательно одевался и, заботливо осматривая себя, щелчками сухих желтых пальцев сбивал никому, кроме его, не видимые пылинки со своего костюма. Оригинальная мысль, яркое слово – были враждебны ему, как будто брезговали его языком, тяжелым и точным. Говорил он солидно, внушительно и, раньше, чем сказать что-либо – всегда неоспоримое, – расправлял холодными пальцами рыжеватые редкие усы.

– С течением времени наука химии приобретает все большее значение в промышленности, обрабатывающей сырье. О женщинах совершенно справедливо сказано, что они – капризны. Между женой и любовницей нет физиологической разницы, а только – юридическая.

Я серьезно спрашивал жену:

– В силах ли ты утверждать, что все нотариусы – крылаты?

Она отвечала виновато и печально:

– О, нет, у меня не хватает сил на это, – но – я утверждаю: смешно кормить слонов яйцами в смятку.

Наш друг, послушав минуты две такой диалог, пронизательно заявлял:

– Мне кажется, что вы говорите все это совершенно несерьезно!

Однажды, больно ударив колено о ножку стола, он сморщился и сказал с полным убеждением:

– Плотность – неоспоримое свойство материи.

Бывало, проводив его, приятно возбужденная, горячая и легкая, жена говорила, полулежа на коленях у меня:

– Ты посмотри, как совершенно, как законченно он глуп.

– Глуп во всем, – даже походка, жесты, – все глупо. Он мне нравится, как нечто образцовое. Погладь мои щеки.

Она любила, когда я, едва касаясь пальцами кожи лица, разглаживал чуть заметные морщинки под милыми глазами ее. И, зажмурясь, поеживаясь, точно кошка, она мурлыкала:

– Как удивительно интересны люди. Даже, когда человек не интересен для всех, – он возбуждает меня. Мне хочется заглянуть в него, как в коробочку, – вдруг там хранится что-то никому не заметное, никогда не показанное, только я одна – и я первая – увижу это.

В ее поисках «никому не заметного» не было напряжения, она искала с удовольствием и любопытством ребенка, который впервые пришел в комнату, незнакомую ему. И, порою, она действительно зажигала в тусклых глазах безнадеж-

но скучного человека острый блеск напряженной мысли, но – более часто вызывала упрямое желание обладать ею.

Она любила тело свое и, нагая, стоя перед зеркалом, восхищалась:

– Как это славно сделано, – женщина! Как все в ней гармонично!

Она говорила:

– Когда я хорошо одета, я чувствую себя более здоровой, сильной и умной!

Так и было: нарядная, она становилась веселее, остроумней, ее глаза сияли победоносно. Она умела красиво шить для себя платья из ситца, носила их, как шелк и бархат, и, одетая всегда очень просто, казалась мне одетой великолепно. Женщины восхищались ее нарядами, конечно, – не всегда искренно, но всегда очень громко, они завидовали ей, и, помню, одна из них печально сказала:

– Мое платье втрое дороже вашего и в десять раз хуже, – мне даже больно и обидно смотреть на вас.

Конечно, женщины не любили ее, разумеется, сочиняли сплетни о нас. Знакомая фельдшерица, очень красивая, но еще более – не умная, великодушно предупреждала меня:

– Эта женщина высосет из вас всю кровь!

Многому научился я около моей первой женщины. Но все-таки меня больно жгло отчаяние непримиримого различия между мною и ею.

Для меня жизнь была серьезной задачей, я слишком мно-

го видел, думал и жил в непрерывной тревоге. В душе моей нестройным хором кричали вопросы, чуждые духу этой славной женщины.

Однажды на базаре полицейский избил благообразного старика, одноглазого еврея, за то, что еврей, будто бы, украл у торговца пучок хрена. Я встретил старика на улице; вывалившийся в пыли, он шел медленно, с какой-то картинной торжественностью, его большой черный глаз строго смотрел в пустознойное небо, а из разбитого рта по белой, длинной бороде тонкими струйками текла кровь, окрашивая серебро волос в яркий пурпур.

Тридцать лет тому назад было это, и я вот сейчас вижу перед собою этот взгляд, устремленный в небо с безмолвным упреком, вижу, как дрожат на лице старика серебряные иглы бровей. Не забываются оскорбления, нанесенные человеку и – да не забудутся!

Я пришел домой совершенно подавленный, искаженный тоской и злобой, такие впечатления вышвыривали меня из жизни, я становился чуждым человеком в ней, человеком, которому намеренно – для пытки его – показывают все грязное, глупое, страшное, что есть на земле, все, что может оскорбить душу. И вот в эти часы, в эти дни особенно ясно видел я, как далек от меня самый близкий мне человек.

Когда я рассказал ей об избитом еврее, она очень удивилась.

– И – поэтому ты сходишь с ума? О, какие у тебя плохие

нервы!

Потом спросила:

– Ты говоришь – красивый старик? Но – как же красивый, если – он кривой?

Всякое страдание было враждебно ей, она не любила слушать рассказы о несчастиях, лирические стихи почти не трогали ее, сострадание редко вспыхивало в маленьком, веселом сердце. Ее любимыми поэтами были Беранже и Гейне, человек, который мучился – смеялся.

В ее отношении к жизни было нечто сродное вере ребенка в безграничную ловкость фокусника – все показанные фокусы интересны, – но самый интересный еще впереди. Его покажут следующий час, может быть, завтра, но его покажут.

Я думаю, что и в минуту смерти своей она все еще надеялась увидеть этот последний, совершенно непонятный, удивительно ловкий фокус.

А. Н. ШМИТ

На Большой Покровке, парадной улице Нижнего-Новгорода, темным комом, мышинным бегом катится Анна Николаевна Шмит, репортерша «Нижегородского Листка». Извозчики говорят друг другу:

– Шмитиха бежит скандалы искать.

И ласково предлагают:

– Мамаша, – подвезти за гривенничек?

Она торгуется, почему-то дает семь копеек. Везут ее и за семь, – извозчики и вообще все «простые» люди считают Анну Шмит «полоумной», блаженной, называют «мамашей», хотя она, кажется, «дева», они любят услужить ей даже – иногда – в ущерб своим интересам.

С утра, целый день Анна Шмит бегает по различным городским учреждениям, собирая «хронику», надоедает распросами «деятелям» города, а они отмахиваются от нее, как от пчелы или осы. Это порою заставляет ее употреблять приемы, которые она именует «американскими»: однажды она уговорила сторожа запереть ее в шкаф и, сидя там, записала беседу земцев-консерваторов, – подвиг бескорыстный, ибо сведения, добытые ею, не могли быть напечатаны по условиям цензуры.

Глядя на нее, трудно было поверить, что этот кроткий,

благовоспитанный человек способен на такие смешные подвиги соглядатайства.

Она – маленькая, мягкая, тихая, на ее лице, сильно измятом старостью, светло и ласково улыбаются сапфировые глазки, забавно вздрагивает остренький птичий нос. Руки у нее темные, точно утиные лапы, в тонких пальцах всегда нервно шевелится небольшой карандаш, – шестой палец. Она – зябкая, зимою надевает три и четыре шерстяных юбки, кутается в две шали, это придает ее фигурке шарообразную форму кочана капусты.

Прибежав в редакцию, она где-нибудь в уголке спускает две-три юбки, показывая до колен ноги в толстых чулках крестьянской шерсти, сбрасывает шали и, пригладив волосы, садится за длинный стол, среди большой комнаты, усеянной рваной бумагой и старыми газетами, пропитанной жирным запахом типографской краски.

Долго и молча пишет четким, мелким почерком и вдруг, точно ее невидимо толкнули, вздрогнув, быстрым движением вскидывает голову, оглядывается, как будто впервые и случайно нашла себя в этой комнате. Ее глаза строго синеют, мятое лицо резко изменяется, на нем выступают скулы, видимо она крепко сжала зубы. Так, оглядывая всех и все потемневшим взглядом, она сидит недвижимо минуту, две. Казалось, что в эти минуты Анна Шмит преодолевает припадок острого презрения ко всему, что шумело и суетилось вокруг нее, а один из сотрудников А. А. Яровицкий шептал

мне:

– Анюту захлестнула волна инобытия...

Многочисленные юбки Анны Шмит сильно потрепаны, ботинки в заплатах, кофточки постираны до дыр и не искусно заштопаны. Ее мать, больная старуха лет восьмидесяти, могла питаться только куриным бульоном, для нее необходимо было покупать ежедневно курицу, это стоило шестьдесят, восемьдесят копеек, т.-е. – тридцать, сорок строк, а печатала Шмит, в среднем, не более шестидесяти строк.

Говоря о матери, она становилась похожа на девочку-подростка, которая любит мать и считает ее высшим авторитетом во всех вопросах жизни. Было странно и трогательно слышать из уст старухи мягкое, детское слово – мама.

Мне говорили, что эта мама старчески эгоистична и раздражительна; если курица оказывалась жестка или надоедала ей, старуха топала ногами на дочь и бросала в нее ложками, вилками, хлебом. Ко мне Анна Шмит относилась очень внимательно, но, не замечая в ней ничего интересного, я уклонялся от ее несколько назойливых вопросов, – они почти всегда касались интимных сторон жизни. Обычно же она говорила мало и почти всегда о «делах» города, газеты. В бесцветных речах ее я не мог уловить ни одного оригинального, меткого слова, которое навсегда всосалось бы в память, а я был очень лаком до таких слов, – они, точно лучики солнца, освещая темноту души ближнего, вдруг покажут какую-то неожиданную частицу ее и тем причастят тебя духу челове-

ка.

Убогость внешнего облика Анны Шмит безнадежно подчеркивалась убожеством ее суждений о политике города и государства, и это давало право всем в редакции относиться к ней так же, как относились извозчики, – считать ее «блаженной», недоумком.

Тем более сокрушительно изумлен был я, когда священник Ф., талантливый организатор публичных прений с бесчисленными сектантами Нижегородского края, сказал мне, неприязненно наморщив свой нос:

– Хитрейшая старушонка эта ваша Шмит! Весьма искусный ловец человеков. Вредное существо.

Не веря искренности изумления моего, иронически ухмыляясь он говорил в ответ на мои вопросы:

– Будто не осведомлены? Трудновато допустить сие при наличии хорошо известного мне любопытства вашего в отношении к людям...

Он страдал какой-то неизлечимой болезнью, его аскетически костлявое христоподобное лицо было обтянуто темной кожей, глаза лихорадочно сверкали, он часто облизывал губы бурым языком и нервозно ломал длинные пальцы, так что они трещали. В спорах с «еретиками» он был ехиден, ловко пользовался искусством эристики и умел раздражать противников так, что они оплошностями своими всегда облегчали ему словесные победы. Мне очень нравилось наблюдать его фокусы, но казалось, что этот человек с лицом ве-

ликомученика не любит ни Бога, ни веры, ни людей, жизнь опротивела ему, он ходит на прения, как ходил бы в трактир играть на биллиарде, он напоминал мне актера, который читает роль правоверного еврея в пьесе «Уриель Акоста». Похрустывая пальцами, он выспрашивал меня:

– И того, якобы, не знаете, что эта Шмит находится в переписке с философом Владимиром Соловьевым, коего справедливо обвиняют в уклоне к ереси католической?

Я сказал:

– Это так же неожиданно для меня, как если бы вы, отец Александр, оказались вдруг не священником, а пожарным.

К вящему изумлению моему священник расхохотался и, сквозь смех, стал уличать меня:

– Вот вы и проговорились! Ох, плохой дипломат вы! Значит – с учеником ее, пожарным Симаковым – знакомы?

После настоятельных и даже сердитых заявлений моих, что я не знаю пожарного, священник, не скрывая недоверия своего, лениво рассказал мне, что Анна Шмит организовала религиозный кружок, способный развиться в секту, в кружке этом – извозчики, мастеровые, какой-то тюремный надзиратель и пожарный.

– Народ наш любит словесность и привержен к сказкам. Пожарный этот беспоповцем был, а ныне Шмитихин пламенный адепт. Но, по природе своей, дурак, он есть самый болтливый из прозелитов новой секты и, ежели вы желаете ознакомиться, как ерундословие старухи этой укладывается

в мозгах простецов, вы с ним познакомьтесь. Он бывает на прениях у меня, рычит нелепо...

—

Лука Симаков, рядовой гренадерского полка, большой, грузный человек с черными, щеткой, усами и синим, гладко обритым черепом. Щеки у него тоже синие, а толстая нижняя губа цвета сырой говядины. Левый, темный глаз меньше правого и тревожно забегает к виску, особенно далеко в те минуты, когда Лука волнуется и жесткой ладонью, размером с небольшую лопату, крепко трет череп свой, трет так, что слышен треск волос. А правый глаз его, большой, выпуклый, почти неподвижен, тускл и, окруженный очень длинными ресницами, напоминает какое-то насекомое.

В темненьком трактире, навалив грудью на стол, он глухим голосом поучал меня:

— По-твоему — как надо Христа понимать?

Луку не надо было выспрашивать, слова лились из его рта, как ручей из трещины в камне. Он говорил с тем буйным напором верующего, который исключает возможность возражений.

— Христос — это легость!

«Легостью» зовется тонкая веревка, с грузом на конце; ее матросы пароходов бросают на пристань, подчаливаясь к ней.

— Не то-о! — с досадой сказал Лука. — Легость — легкость, понял? Христос — легкость, с ним жить легко. Насчет чалки —

это подходящее, причаливай через Христа к истинной вере. Только ты пойми! – Христос – не естество и не существо, он просто одно слово...

– Логос?

Симаков удивленно вскричал:

– Во-от!

И еще подвинулся ко мне, спрашивая:

– Откуда знаешь? Кто научил? Мамаша? Какова старушка-то? – уже шопотом продолжал он. – Ведь – так себе, вроде нищей. Мы – наряжаемся, хвастаем, а она – святость, неприемна. И в мухе сокрыта премудрость...

– А слово это ты никому не говори, – предупредил он меня. – Особенно, чтоб попы не слышали, – попам оно яд. Ежели они услышат это слово – тебе будет плохо!

Потом он сообщил мне, как великую тайну, что Христос – жив, живет в Москве на Арбате.

– Это все выдуманно попами, будто он на кресте помер, а после воскрес, вознесся, нет, – он на земле, около людей. Слово – не убьешь! Ну-ко, убей-ко – да? Вот я тебе говорю слово – да, а ты его убей! Понял?

Часа два слушал я темные речи пожарного; уходя, он покровительственно обещал:

– Ты погоди, я тебя сведу с самой мамашей! Она тебя обучит.

–

О моем знакомстве с пожарным Шмит узнала раньше, чем

я успел сказать ей. Беспокойно постукивая карандашиком по ногтям, она спрашивала:

– Что говорил вам этот протест Божий?

Узнав, что Лука рассказал мне о Христе, живущем в Москве, на Арбате, она еще более тревожно стала шаркать карандашом по ногтям, говоря:

– Он – не совсем разумен, он несколько раз сильно угорал на пожарах, это очень отразилось на нем.

Глаза ее потемнели и что-то суровое светилось в них, она плотно сжала губы, и маленькое личико ее огорченно сморщилось.

– Если вы серьезно интересуетесь этими вопросами, – можно поговорить, я свободна в Троицын день...

И тотчас же спросила, усмехаясь:

– Но – ведь, вы из любопытства, от скуки? Да?

Я сказал, что мне жить – не скучно и что желание знать, как думают люди, я бы не назвал простым любопытством.

– Конечно – нет, конечно! – тихонько воскликнула Шмит, и вдруг вполголоса, складно, языком привычного оратора, быстро крутя карандаш темными пальцами мумии, она заговорила о том, как люди далеки друг другу, как мало у них желаний и умения проникнуть в сокровенное души ближнего.

– В мутном потоке жизни мы плаваем, немые, как рыбы: «Мир миру твоему даруй», молимся мы, но ведь мир – гармония душ, их всеобщая связь, а – как связаться с ней,

непостижимой?

Ее позвали в контору и, уходя, она ласково попросила:

– А над Лукою вы не смейтесь, это – безумец Христов, такими строится истинная вера.

–

В Троицын день, вечером, она пришла ко мне, одетая празднично в коричневой юбке с заплатой на подоле, – кусок юбки был, очевидно, вырван гвоздем или зубами собаки; синюю сарпинковую кофточку украшал на груди голубой бант, а на ногах блестели новые калоши, хотя погода стояла сухая и жаркая. Оказалось, что Шмит отдала ботинки чинить, но сапожник не успел сделать это, и вот она гуляет в калошах.

Мы пили чай с вишневым вареньем и сушками, – я узнал, что это любимое лакомство Анны Николаевны. А к полуночи я узнал, что старенькая, забавная репортерша провинциальной газеты, Анна Шмит – воплощение одной из жен-Мироносиц, кажется – Марии Магдалины, которая, в свою очередь, была воплощением Софии, Вечной Премудрости. На расстоянии от Марии Магдалины до Анны Шмит Вечная Премудрость воплощалась, разумеется, не однажды, одним из ее воплощений была Екатерина Сиенская, другим – Елизавета Тюрингенская, был и еще ряд воплощений, уже не помню имен их.

В начале речи Анны Шмит мне было несколько неловко слушать ее, – все, что говорила она, никак не объединялось с ежедневной курицей, резиновыми калошами и всем про-

чим во внешнем облике воплощения Вечной Премудрости. Я сидел, опустив голову, стараясь не видеть, как это воплощение, разламывая сушки, поддевая их рогульками липкие ягоды варенья, обсасывает их тонкими губами; смешно было слушать, как сушки хрустят на зубах.

Но – предо мною сидел незнакомый мне человек, он говорил очень складно, красиво уснащал речь свою цитатами из творений отцов церкви, говорил о гностиках, о Василиде и Энойе; голос его звучал учительно и властно, синие зрачки глаз расширились и сияли так же ново для меня, как новы были многие мысли и слова. Постепенно все будничное и смешное в этом человеке исчезло, стало невидимо, и я хорошо помню радостное и гордое удивление, с которым наблюдал, как из-под внешней серенькой оболочки возникают, вырываются огни мышления о зле жизни, о противоречии плоти и духа, как уверенно и твердо звучат древние слова искателей совершенной мудрости, непоколебимой истины. Об Анне Шмит напоминал только карандашик, неустанно и все быстрее вертевшийся в ее сухоньких, темных пальцах мумии. Она как будто немного охмелела, рисуя карандашом в воздухе капризный узор путей мысли, она подскакивала на стуле и, улыбаясь, с радостью говорила:

– Вы представьте себе безысходный ужас Дьявола...

На подбородке Анны Шмит блестела рубиновая капелька варенья.

Подняв правую руку над головою, она сказала:

– И Христос – жив есть!

Я узнал, что Христос это – Владимир Соловьев, он же – Логос; Христос непрерывно воплощается в того или иного человека и вечно среди людей. Но воплощения Софии не подвергаются воздействию разрушительных влияний суетного мира сего с той легкостью, как воплощения Логоса, особенно враждебные Дьяволу.

– Чистая духовность Логоса не претерпевает искажения, но человек, воплощающий в себе Логос, нередко затемняет ее черной мудростью Сатаны.

Она вынула из кармана юбки кожаный пакетик, а из него осторожно достала несколько писем:

– Это письма Соловьева, – вот, послушайте, как трудно ему...

Многозначительно подчеркивая отдельные слова, она прочитала несколько отрывков; я ничего не понял в них, но в одном Соловьев цитировал слова Фридриха Великого, сказанные им на поле какой-то битвы солдатам своим, которые побежали от врага:

– «Подлецы! Разве вы хотите жить вечно?»

Слова это напомнили мне четверостишие Соловьева:

*В лесу – болото,
В болоте – мох;
Родился кто-то,
Потом – издох.*

Вспомнил я и эпитафию его:

*Под камнем сим лежит
Владимир Соловьев,
Сначала был поэт,
А после – философ.*

*Прохожий! Научись из этого примера,
Сколь пагузна любовь и сколь полезна вера.*

Я спросил Шмит: что думает она об этих шутках?

Она откинулась на спинку стула, ее острый носик покраснел, зрачки стали совершенно синими и в голосе ее мне слышался гнев;

– Кто сказал вам, что это его, что это им написано? Нет, нет, это клевета! Это шутки его товарищей...

Но вскоре serene старушка, похожая на самку воробья, говорила о человеке шумной славы, о философе, искуснейшем диалектике и талантливом поэте тоном матери, встревоженной поведением сына.

– Вы знаете, – даже самого Христа Дьявол соблазнял славою земной.

Эти слова она сказала как бы утешая кого-то и так вопросительно, почти умоляюще посмотрела на меня, что я счел нужным откликнуться ей:

– О, да...

– Он слишком тяготеет к людям, потому что добр. Но человек только тогда силен против соблазнов, когда умеет во всех окружениях оставаться самим собою. Христос тяготел к людям после того, как укрепил дух свой в пустыне, а Соловьев идет к ним преждевременно.

Она именовала Соловьева хрустальным сосудом Логоса, святым Граалем, величайшим сыном века и – ребенком, который, плутая в темной чаще греха, порою забывает невесту, сестру и мать свою – Софию, Предвечную Мудрость.

– Понимаете? Невесту и мать...

Иногда мне казалось, что в словах Анны Шмит слышу я обиду влюбленной женщины, даже сентиментальность старой девы, но это мелькало в ее речах бледненькими искрами, тотчас же заменяясь покровительным отношением к Соловьеву, как человеку, которым надо руководить на путях жизни.

Понизив голос, она рассказывала как тайну:

– Его соблазняют люди, но еще более настойчиво – черти. Он знает это. В одном письме он пишет, что черти заглядывают в окна к нему, а один даже спрятался в сапог и всю ночь сидел там, дразнился, шумел...

О чертях она говорила так же просто, как говорят о реальном: тараканах, комарах.

– И еще – слава; слава делает человека актером, – памятно сказала она. – Если на человека пристально посмотрят, он на-

чинает прятаться в различных выдумках, он хочет быть таким, как приятнее людям. Вы знаете это?

Я, к сожалению, это знал. И все с большим трудом верил ушам и глазам своим, наблюдая, какие верные мысли горят в душе этого незаметного человечка. Она снова заговорила о пустыне, о великом значении самосозерцания и одиночества и говорила на эту тему так много, что, помню, у меня скользнула мысль: не слишком ли одинок этот человек и не потому ли он так откровенен со мною? Как маленькая птица, отбившись от стаи, она летит над морем к далекому в ночи огню, к маяку, на невидимый и неведомый берег. Этот маяк – Владимир Соловьев и это все, чем освещена и осмыслена ее тихая, одинокая жизнь среди здравомыслящих людей.

– Разве Христос не испытал человеческого страха перед судьбою? вдруг спросила она и тотчас, закрыв глаза, стала читать нараспев, как псалом, чьи-то стихи:

*Душа во плоть с небес сошла,
Но ей земная жизнь мила,
Душа срастается с землею
И, как усталая пчела,
Пьет сладкий яд земного зла.*

Стихи были длинные, Анна Шмит читала их тихо, для себя, и только две последние строки выговорила громко, с торжественной угрозой, открыв влажные глаза и высоко взмах-

нув карандашем.

*И вечности колокола
Души умершей не разбудят.*

Поздно за полночь я пошел провожать ее. По улицам шмыгал ветер, вздымая пыль, шелестя березками; березки были привязаны к тумбам, а некоторые уже валялись на земле. Бродили пьяные, где-то неистово закричала женщина, из подворотни выскочил черный котенок. Шмит брезгливо оттолкнула его ногою:

– Точно чортик.

К нам привязался пьяный почтальон, бестолково рассказывая о какой-то обиде, нанесенной ему, он стучал кулаком в грудь свою и спрашивал, всхлипывая:

– Разве я ему – враг?

– Идемте скорее, – сказала Шмит и быстро шагая тоже пожаловалась: Разве это – праздник? Разве так надо праздновать?

–

После этого, встречая в редакции Анну Шмит, я стал ощущать непобедимую неловкость; я не мог относиться к ней, как относился раньше, не мог говорить о пустяках лениво текущих будней. Она же, видимо, иначе истолковав мою сдержанность, стала говорить со мною сухо и неохотно. Ее сап-

фировые глаза смотрели мимо меня на карту России, засиженную мухами так, как будто на всю русскую землю выпал черный град.

Мне очень хотелось познакомиться с учениками Шмит, но она сказала:

– Едва ли это интересно для вас, – простые люди, очень простые...

А Лука Симаков, потирая череп, тревожно двигая косым глазом, сообщил мне:

– Не понравился ты мамаше, не велела она мне говорить с тобой.

Но минуты через две, прижимая меня, тяжким телом своим в угол казарменной клетки, где он жил, пожарный шептал:

– Христос прячется от попов, попы его заарестовать хотят, они ему враги, конечно! А Христос скрылся под Москвой, на станции «Петушки». Скоро все будет известно царю, и вдвоем они неправду разворотят в трое суток! Какую попом! Истребление!

В нелепых словах Луки чуялось слепое озлобление сектанта и страх пред чем-то, чего он не мог выразить; неизбежный, темный страх этот сверкал в его левом глазу, все время забегавшем к виску. Из двух-трех бесед с ним я вынес впечатление почти жуткое: Христос чудился пожарному мстительным и мрачным существом, – оно враждебно присматривается к жизни людей откуда-то из темного угла и ждет

минуты, чтоб выпрыгнуть оттуда.

– Церкви разрушить хочет, – шептал мне пожарный. – Он с того начал, помнишь, в Ерусалиме? Во-от...

Все-таки он познакомил меня с одной ученицей Анны Шмит, портнихой-одиночкой, Палашей, девицей лет тридцати. Коротконогая, сутулая, без шеи, с плоским лицом и остренькими стеклянными глазками, она была фальшиво мягка на словах и, видимо, очень недоверчива к людям. Жила она в глухом переулке над оврагом, в ее двух комнатах неустанно гудели черные, большие мухи, звонко стучаясь в тусклые стекла окон. На подоконнике недвижимо сидел жирный кот, очень редкий – трех шерстей: рыжей, белой и черной; меня очень удивило отношение кота к мухам: они садились на голову его, ползали по спине, – кот неподвижно смотрел в окно и ни разу не встряхнул шерстью, чтоб согнать мух.

Нараспев, словами, неестественно и как бы нарочно искаженными, Палаша говорила, ловко пришивая пуговицы к пестрой батистовой кофточке:

– Жисть наша, миленький мой господин, совсем безбожная и настолько грешная, что даже – ужась! А Христос невидимо коло ходит, печалуется, сокрушается: ох, вы людие несчастное! И на что разделил я душеньку свою промеж вас? На поругание, на глумление...

Потом она читала стихи из апокрифа «Сон Богородицы», а кончив неприятное унылое чтение, объявила мне:

– Истинное имячко Богоматери не Мария, а Енохия, ро-

дом же она от пророка Еноха, который был не еврей, а грек.

Когда я спросил ее: знает ли она Анну Николаевну Шмит, Палаша, наклонив голову, перекусывая нитку, ответила вопросом:

– Шмит? Не русская, значит.

– Но ведь вы знаете ее!

– А – кому это известно? – спросила Палаша, почесывая мизинцем свой широкий нос и озабоченно разглядывая кофточку.

– Ежели это вам Симаков сказал, – вы ему веры ни в чем не давайте, он человек испорченный, вроде безумного.

Симаков говорил мне о Палаше:

– Это, брат, девица мудрая, она вроде крыла мамаше служит, она да еще один человек высоко возносят ее над людьми...

Я не сумел понять, как и что восприняла портниха от Анны Шмит; чем настойчивее расспрашивал я об этом, тем более многословно, и фальшиво Палаша говорила о Симакове, о кознях Дьявола.

– Бросает нас злой дух, как мальчишка камни с горы, катимся мы, вертимся, бьем друг друга и не видать нам спасенья...

Приглаживая ладонями рыжеватые волосы и без того гладко, туго наклеенные на череп, Палаша смотрела стеклянными глазками на меня, и взгляд ее говорил:

– Ничего ты у меня не выпытаешь!

Заходил я к ней еще раз два, она принимала меня ласково, охотно и даже сладострастно рассказывала мне жития великомучениц, я слушал и смотрел на кота.

– И секли ее злодеи-римляне по белому телу, по атласным грудям каленым прутьем железным, и лилась, кипела ее кровушка, – выпевала Палаша.

Мухи гудели. Кот равнодушен, неподвижен, в комнате пахнет кислой помадой...

Вскоре, заболев, я уехал в Крым и с той поры не встречал больше Анну Шмит, Нижегородское воплощение Софии Премудрости?

СТОРОЖ

Я – ночной сторож станции Добринка; от шести часов вечера до шести утра хожу с палкой в руке вокруг пакгаузов; со степи тысячью пастей дует ветер, несутся тучи снега, в его серой массе медленно плывут туда и сюда локомотивы, тяжело вздыхая, влача за собою черные звенья вагонов, как будто кто-то, не спеша, опутывает землю бесконечной цепью и тащит ее сквозь небо раздробленную в холодную белую пыль. Визг железа, лязг сцеплений, странный скрип, тихий вой носятя вместе со снегом.

У крайнего пакгауза, в мутных вихрях снега возятся две черные фигуры, – это пришли казаки воровать муку. Видя меня, они, отскочив в сторону, прячутся в сугроб, и потом, сквозь вой и шорох вьюги, я слышу нищенски жалобные слова просьбы, обещания дать полтинник, ругань.

– Бросьте это, ребята, – говорю я.

Мне лень слушать их, не хочется говорить с ними, я знаю, что они – не бедняки, воруют не по нужде, а на продажу, для пьянства, для женщин.

Иногда они подсылают красивую жолнерку Леску Графову; расстегнув тулупчик и кофту, она показывает сторожам груди; упругие, точно хрящ, они стоят у нее горизонтально.

– Глядите-тко, – как пушки! – задорит и хвастается она. –

Ну, хотите за мешок пшеничной второго сорта? Ну, – третьего?

С нею деловито торгуются молодой религиозный тамбовский парень Байков и усманский татарин, хромой Ибрагим.

Она стоит перед ними, открыв грудь, снег тает на коже у нее, встряхнув плечами, как цыганка, она ругается:

– Кацапы, ну, скорее! Болотное племя, али вы найдете где эдакую сладость, как у меня, падаль песья!

Она презирает русских мужиков. Голос у нее грудной, сильное красивое лицо освещено дерзкими глазами кошки. Ибрагим ведет ее под крышу пакгауза, а ее товарищи, бросив на салазки мешок или куль, – уезжают.

Мне противно бесстыдство этой женщины и до тоски жалко ее прекрасное, сильное тело. Ибрагим называл Леску собакой и плевался, вспоминая ее ласки, а Байков тихо и задумчиво говорил:

– Таких убивать надо бы...

По праздникам, нарядно одетая, в скрипучих козловых башмаках, в алом платочке на густых каштанового цвета волосах, она, приходя в город, обслуживает телом своим «интеллигенцию», относясь ко всем покупателям одинаково дерзко и презрительно.

Когда она привязывалась ко мне, я ее прогонял с моего участка, но как-то, теплой светлой ночью, сидя на лесенке пакгауза, я задремал, и, открыв глаза, – увидел перед собой Леску; она стояла, сунув руки в карман тулупчика, нахмурия

брови, статную фигуру ее внимательно освещала луна.

– Не бойсь, – не воровать пришла – гуляю!

По звездам – было уже далеко за полночь.

– Поздновато гуляешь.

– Баба – ночью живет, – ответила Леска, садясь рядом со мной. – Ты чего же спишь? Али за сон деньги платят?

Достала из кармана горсть семян подсолнуха и, грызя их, спросила:

– Ты, будто, грамотей? Скажи-ка, где Оболак-город?

– Не знаю.

– Матерь Божия появилась там, кверху ручки, пишется, а младенец Христос – в подоле у ней...

– Абалацк...

– Где он?

– На Урале где-то, или в Сибири.

Облизав губы, она сказала:

– Пойти, что ли, туда? Далекое оно. А, пожалуй, надо итти.

– Зачем?

– Молиться, грешна больно. Все через вас, кобелей... Покурить есть?

Закурив – предупредила:

– Казакам – не говори, гляди, что курю, – у нас не любят, когда баба дымит.

Очень красиво было ее строгое лицо, нарумяненное зимним воздухом, ярко блестели темные зрачки в опаловых овалах белков.

Золотая полоска сверкнула в небе – женщина перекрестилась, говоря:

– Упокой Господь душу! Вот и моя душа так же падет. Тебе когда скушнее, – в светлые ночи, али в темные? Мне – в светлые.

Заплевала огонек окурка папиросы, бросила его и, зевнув, предложила:

– Давай – побалуемся?

А когда я отказался – добавила равнодушно:

– Со мной хорошо, все хвалят...

Я сказал несколько слов о ее отталкивающем бесстыдстве – ласково и мягко сказал. Не глядя на меня, она ответила спокойным, ровным голосом.

– Это – от скуки потеряла я стыд. Скушно, человек...

Странно мне было слышать из уст ее слово «человек» – оно прозвучало необычно, незнакомо. А женщина, закинув голову, глядя в небо, говорила медленно:

– Я не виноватая; говорится: так сделал Бог, ценят бабу с ног. Не виноватая я в этом...

Посидев молча еще минуту, две, она встала, оглянулась.

– Пойду к начальнику...

И не спеша ушла по нитям путей, по рельсам, высеребренным луною, а я остался, подавленный словами:

– Скушно, человек...

Мне в ту пору была непонятна «скука» людей, чья жизнь рождается и проходит на широких плоскостях, в пустоте, яр-

ко освещаемой то солнцем, то луною, на равнинах, где человек ясно видит свое ничтожество, где почти нет ничего, что укрепляло бы волю к жизни.

Вокруг меня мелькали люди, для которых все, чем я жил, было чуждо, каждый из них отбрасывал свое отражение в душу мне, и в непрерывной смене этих отражений я чувствовал себя осужденным на муку понимать непонятное.

Вот предо мною буйно кружится Африкан Петровский, начальник станции, широкогрудый длиннорукий богатырь, у него выпуклые – рачьи темные глаза, черная бородища, он весь, как зверь, оброс шерстью, а говорит – чужим голосом – тенором, и когда сердится, то свистит носом, широко раздувая калмыцкие ноздри. Он – вор, заставляет весовщиков вскрывать вагоны с грузом портов Каспийского моря, весовщики таскают ему шелк, сласти, он продает краденое – и устраивает по ночам на квартире у себя «монашью жизнь». Он – жесток, бьет по ушам и по зубам станционных сторожей, говорят – до смерти забил свою жену.

Вне службы он наряжается в алую шелковую рубаху, бархатные шаровары, в татарские сапоги зеленого сафьяна, носит лиловую, шитую золотом тюбитейку на черной шапке курчавых волос; таков – он похож на трактирного певца, одетого в «боярский костюм».

К нему приходит помощник исправника Маслов, лысый, круглый, бритый, точно ксендз, с носом хищной птицы и лихими глазками распутной женщины, – это очень злой, хит-

рый, лживый человек, в городе его прозвали «Актриса»; – является мыловар Тихон Степахин, рыжий, благообразный мужик, тяжелый, как вол, полусонный, – на его заводе рабочие отравляются чем-то и заживо гниют; его несколько раз судили и штрафовали за увечья рабочих; приходит кривой дьякон Ворошилов, пьяница, грязный, засаленный челове-чишко, превосходный гитарист и гармонист, рябое скуластое лицо его в серых волосах, толстых, как иглы ежа; у дьякона маленькие холеные руки женщины и красивый – ярко-синий – глаз: дьякона так и зовут «Краденый глаз».

Приходят бойкие девицы из села и казачки из станицы, иногда с ними Леска. В небольшой комнате, тесно заставленной диванами, садятся за тяжелый круглый стол, нагруженный копченой птицей, окороками, множеством всяких солений, мочеными яблоками и арбузами, квашеной, вилок-вой капустой, – среди всей этой благостыни блестит четверть водки. – Петровский и друзья его, почти молча, долго жуют, чавкают, сосут водку из серебряной «братской» стойки, – в нее входит четверть бутылки.

Наелись. Степахин рыгает, как башкир; крестится дья-кон, – нежно улыбаясь, настраивает гитару; переходят в большую комнату, где нет мебели, кроме полдюжины сту-льев, и начинают петь.

Поют – дивно. Петровский – тенором, Степахин – густей-шим мягким басом, у дьякона – хороший баритон, Маслов умело вторит хозяину, женщины тоже обладают хорошими

голосами, – особенно выдается чистотою звука контральто казачки Кубасовой; голос Лески криклив, – дьякон часто грозит ей пальцем. Поют благоговейно, как пели бы во храме, и все строго смотрят друг на друга, – только Степахин, широко расставив ноги, опустил глаза, и лицо у него удивленное, точно он не верит, что это из его горла бесконечно льется бархатная струя звука. Песни мучительно грустные, иногда торжественно поется что-либо церковное, чаще всего «Покаяния двери отверзи».

Белки рачьих глаз Петровского налиты кровью, он вытягивается всем телом, как солдат в строю, и орет:

– Дьякон – плясу! Тихон – делай! Живем!

– Начали! – отзывается дьякон, взмахивая гитарой и хитрейшим перебором струн, с ловкостью фокусника начинает играть трепака, а Степахин пляшет. Деревянное лицо мыловара освещено мечтательной усмешкой, грузное тело его исполнено гибкой, звериной грации, он плавает по комнате легко, как сом в омуте, весь в красивых ритмических судорогах и, бесшумно выписывая ногами затейливые фигуры, смотрит на всех взглядом счастливого человека. Пляшет он чарующе хорошо, и хотя казачка Кубасова, подвизгивая, заманчиво и ловко ходит вокруг него, но Степахин затмевает ее невыразимой красотой ритмических движений мощного тела, – его пляска опьяняет всех.

Африкан Петровский озверел от радости, орет, свистит, взмахивает башкой, вытряхивая из глаз слезы, дьякон, пере-

став играть, обнимает Степахина, целует и, задыхаясь, бормочет:

– Тихон! – богослужебно... Голубчик. Все... Все простится...

А Маслов кружится около них и кричит:

– Тихон! Царь! Талант! Убийца!

Эти люди выпили две четверти водки, но только теперь они хмелеют, и мне кажется, что это – опьянение от радости, от взаимных ласк и похвал. Женщины тоже охмелели, глаза их жадно горят, на щеках жаркий румянец, они обмахиваются платочками и возбуждены, как застоявшиеся лошади, которых вывели из темной конюшни на широкий двор, на свет и тепло весеннего дня.

Леска, полуоткрыв рот, дышит тяжело, смотрит на Степахина сердито, влажными глазами и, покачиваясь на стуле, шаркает по полу подошвами башмаков.

За окнами свистит и воет ветер, в трубе печи гудит, белые крылья шаркают по стеклам окон. – Степахин, вытирая пестрым платком потное лицо, говорит тихо и виновато:

– Из-за плясок этих, в хороших людях никакого уважения нету ко мне...

Петровский яростно обкладывает хороших людей многословной затейливой матерщиной. Женщины фальшиво взвизгивают, желая показать, что им стыдно – а сочетания зазорных слов победно обнаруживают прелестную гибкость русского языка.

Снова играет дьякон, а Петровский пляшет, бурно, удало, с треском, с грохотом и криками, как-будто разрывая и ломая что-то невидимо стесняющее его, пляшет Леска, как безумный неумело прыгает Маслов. Топот, свист, визг, непрерывное мелькание пестрых юбок, и, отчеканивая каблуками дробь, Петровский свирепо, мстительно орет:

– Эх-ма! Пропадаю-у!

Слышно, как он скрипит зубами. В этом исступленном весельи нет смеха, нет легкой, окрыленной радости, поднимающей человека над землей, это почти религиозный восторг; он напоминает радения хлыстов, пляски дервишей в Закавказье. В этом вихре тел – сокрушительная силища, и безысходное метание ее кажется мне близким отчаянию. Все эти люди – талантливы, каждый по-своему, жутко талантливы; они опьяняют друг друга исступленной любовью к песне, к пляске, к телу женщины, к победоносной красоте движения и звука, все, что они делают, похоже на богослужение дикарей.

Петровский снимает меня с дежурства для участия в «монашьем житье», потому что я много знаю хороших песен, не плохо умею «сказывать» их и могу, не пьянея, глотать множество неприятной мне водки.

– Пешков, – валяй! – орет он, – он орет, даже когда обнимает женщин, ревет зверем, – это его потребность.

Становлюсь к стене и «валяю». Нарочито выбирая трогательные и красивые, – я «сказываю» песни, стараясь обна-

жить красоту слова и чувства, скрытую в них. И подчиняюсь силе их неизбывной тоски, близкой моей душе, враждебно отрицаемой разумом.

– Господи, – вызывает дьякон, хватаясь за голову, его маленькие нежные ладони совершенно тонут в космах полуседых волос. Степахин смотрит на меня изумленно и, кажется, с завистью, лицо его вздрагивает неприятно, Петровский так стиснул зубы, что скулы его выступили желваками. А Маслов, посадив Кубасову на колени себе, забыл о ней и смотрит в пол, как больная собака. Не понимаю, чего мне надо от этих людей, но иногда думалось, что если насытить их песнями до полноты душ, – тогда они как-то изменятся, обнаружат себя более понятными мне. Вот они, восхищаясь, обнимают, целуют меня, дьякон плачет.

– Разбойник, – говорит мне Маслов, глядя руку мою, Степахин молча целует меня.

– Пей, все равно пропадаешь! – ревет Петровский, а Леска, размахивая руками, говорит:

– Влюбилась я в него, при всех говорю – влюбилась, даже ноги трясутся...

А через минуту они ненасытно требуют еще чего-то.

Знаю я, что они люди негодные, но – они религиозно поклоняются красоте, служат ей, до самозабвения, упиваются ядом ее и способны убить себя ради нее.

Из этого противоречия возникает облако мутной тоски и душист меня. А у них исступление восторга восходит до выс-

шей точки своей, но – все песни уже спеты, пляски сплясаны.

– Раздевай баб! – орет Петровский.

Раздевал всегда Степахин, он делал это не торопясь, аккуратно развязывая тесемки, расстегивая крючки и деловито складывая в угол кофты, юбки, рубахи.

Рассматривали прекрасное тело Лески, осторожно трогали ее вызывающие груди, стройные ноги, великолепный живот, ходили вокруг женщин изумленно охая и хвалили тело их так же восторженно, как песню, пляску. Потом снова шли к столу в маленькую комнату, ели, пили и – начиналось неопишваемое, кошмарное.

Животная сила этих людей не удивляла меня – быки и жеребцы сильнее. Но было жутко наблюдать нечто враждебное в их отношении к женщинам, красотой которых они только что почти благоговейно восхищались. В их сладострастии я чувствовал примесь изощренной мести, и казалось, что эта месть возникает из отчаяния, из невозможности опустошить себя, освободить от чего-то, что угнетало и уродовало их.

Помню ошеломивший меня крик Степахина: он увидел отражение свое в зеркале, его красное лицо побурело, посинело, глаза иступленно выкатились, он забормотал:

– Братцы – глядите-ка, Господи!

И – взревел:

– У меня – нечеловечья рожа – глядите! Нечеловечья же, – братцы!

Схватил бутылку и швырнул в зеркало.

– Вот тебе, дьяволово рыло, – на!

Он был не пьян, хотя и много выпил, – когда дьякон стал успокаивать его, он разумно говорил:

– Отстань, отец... Я же знаю, – нечеловечьей жизнью живу. Али я человек? У меня вместо души чорт медвежий, – ну, отстань. Ничего не сделать с этим...

В каждом из них жило – ворочалось – что-то темное, страшное. Женщины взвизгивали от боли их укусов и щипков, но принимали жестокость как неизбежное, даже как приятное, а Леска нарочно раздражала Петровского задорными возгласами:

– Ну – еще! Ну-ка, ущипни, ну?

Кошачьи зрачки ее расширялись, и в эту минуту было в ней что-то похожее на мученицу с картинки. Я боялся, что Петровский убьет ее.

Однажды, на рассвете, идя с нею от начальника, я спросил: зачем она позволяет мучить себя, издеваться над собою?

– Так он сам же себя мучает. Они все так. Дьякон-то кусается, а сам плачет.

– Отчего это?

– Дьякон – от старости, сил нет. А другие – Африкан со Степахиным тебе не понять, отчего. А я и знаю, да сказать не умею. Знаю я – много, а говорить не могу, покамест слова соберу – мысли разбегутся, а когда мысли дома – нету слов.

Она, должно быть, действительно что-то понимала в этом буйстве сил, помню, весенней ночью, она горько плакала, го-

воря:

– Жалко мне тебя, пропадешь, как птица на пожаре, в дыму. Ушел бы лучше куда в другое место. Ой, всех жалко мне...

И нежными словами матери, с бесстрашной мудростью человека, который заглянул глубоко во тьму души и печально испугался тьмы, она долго рассказывала мне страшное и бесстыдное.

Теперь мне кажется, что предо мною разыгрывалась тяжелая драма борьбы двух начал – животного и человеческого: человек пытается сразу и навсегда удовлетворить животное в себе, освободиться от его ненасытных требований, а оно, разрастаясь в нем, все более порабощает его.

А в ту пору эти буйные праздники плоти возбуждали во мне отвращение и тоску, смешанные с жалостью к людям, – особенно жалко было женщин. Но, изнывая в тоске, я не хотел отказаться от участия в безумствах «монашьей жизни», – говоря высоким стилем, я страдал тогда «фанатизмом знания», меня пленил и вел за собою «фанатик знания – Сатана».

– Все надо знать, все надо понять, – сурово сквозь зубы говорил мне М. А. Ромась, посасывая трубку, дымно плевал и следил, как голубые струйки дыма путаются в серых волосах его бороды. – Не подобает жить без оправдания, это значило бы – живете бессмысленно. Так что – привыкайте заглядывать во все щели и ямы, может, там, где-то и затиска-

на вам потребная истина. Живите безбоязненно, не бегая от неприятного и страшного, – неприятно и страшно, потому что непонятно. Вот что!

Я и заглядывал всюду, не щадя себя, и так узнал многое, чего мне лично лучше бы не знать, но о чем рассказать людям – необходимо, ибо это их жизнь трудная, грязная драма борьбы животного в человеке, который стремится к победе над стихией в себе и вне себя.

Если в мире существует нечто поистине священное и великое, так это только непрерывно растущий человек, – ценный даже тогда, когда он ненавиден мне.

Впрочем, – внимательно вникнув в игру жизни, я разочился ненавидеть, и не потому, что это трудно – ненависть очень легко дается, – а потому, что это бесполезно и даже унижительно, – ибо – в конце концов ненавидишь нечто свое собственное.

Да, философия – особенно же моральная – скучное дело, но когда душа намозолена жизнью до крови и горько плачет от неисчерпаемой любви к «великолепному пустяку» – человеку, невольно начинаешь философствовать, ибо – хочется утешить себя.

–

Прожив на станции Добринка три или четыре месяца, я почувствовал, что больше – не могу, потому что, кроме иступленных радений у Петровского, меня начала деспотически угнетать кухарка его, Маремьяна, женщина сорока ше-

сти лет и ростом два аршина десять вершков; взвешенная в багажной на весах «фербэнкс», она показала шесть пудов тринадцать фунтов. На ее медном луноподобном лице сердито сверкали круглые зелененькие глазки, напоминая окись меди, под левым помещалась бородавка, он всегда подозрительно хмурился. Была она грамотна, с наслаждением читала жития великомучеников и всею силой обширнейшего сердца своего ненавидела императоров Диоклетиана и Деция.

– Нарвались бы они на меня, я б им зенки-то выдрала!

Но свирепость, обращенная в далекое прошлое, не мешала ей рабски трепетать перед «Актрисой», Масловым. В часы пьяных ужинов она служила ему особенно благоговейно, заглядывая в его лживые глаза взглядом счастливой собаки. Иногда он, притворяясь пьяным, ложился на пол, бил себя в грудь и стонал:

– Плохо мне, плохо-о...

Она испуганно хватала его на руки, и как ребенка, уносила куда-то в кухню к себе.

Его звали – Мартин, но она часто, должно быть со страха пред ним, путала имя его с именем хозяина и называла:

– Мартыкан.

Тогда он, вскакивая с пола, безобразно визжал:

– Что-о? Как?

Прижав руки к животу, Маремьяна кланялась ему в пояс и просила хриплым от испуга голосом:

– Прости, Христа ради...

Он еще более пугал ее свистящим тонким визгом, – тогда огромная баба молча, виновато мигала глазами, из них выскакивали какие-то мутно-зеленые слезинки. Все хохотали, а Маслов, бодая ее головою в живот, ласково говорил:

– Ну, – иди, чучело! Иди, нянька...

И когда она осторожно уходила – рассказывала, не без гордости:

– Буйвол, а сердце – необыкновенной нежности...

В начале дней нашего знакомства Маремьяна и ко мне относилась добродушно и ласково, как мать, но однажды я сказал ей что-то порицающее ее рабью покорность «Актрисе». Она даже отшатнулась от меня, точно я ее кипятком ошпарил. Зеленые шарики ее глаз налились кровью, побурели, грузно присев на скамью, задыхаясь в злом возмущении, качаясь всем телом, она бормотала:

– Ма-мальчишка, – да ты что это? Это – про него, ты? Эдаким-то словом? Да – я тебя... Он тебя... Тебя надо на мельнице смолоть! Ты – с ума ли сошел? Он – святе святого, а ты... Ты – кто?

И крикнула, неожиданно густо:

– Отравить тебя, волчья душа! Уйди!

Я был опрокинут этим взрывом изумленной злобы и, несмотря на юность мою, почувствовал, что грубо коснулся чего-то поистине священного или очень наболевшего. Но – как я мог догадаться, что эта масса жира и мяса, размещенная на огромных костях, носит в себе нечто неприкосновен-

ное и столь дорогое для нее? Так учила меня жизнь понимать равноценность людей, уважать тайно живущее в них, учила осторожней, бережливее относиться к ним.

После этого Маремьяна, люто возненавидев меня, возложила на плечи мои множество обязанностей по хозяйству начальника станции. Сменяясь с дежурства, после бессонной ночи, я должен был колоть и таскать дрова на кухню и в комнаты, чистить медную посуду, топить печи, ухаживать за лошадью Петровского и делать еще многое, что поглощало почти половину моего дня, не оставляя времени для книг и для сна. Женщина откровенно грозила мне:

– Затираню до того, что на Кавказ сбежишь.

«Кавказ требует привычки», – вспоминал я изречение Барина и написал начальству в Борисоглебск прошение, в котором – стихами – изобразил Маремьянино тиранство. Прошение имело успех: вскоре меня перевели на товарную станцию Борисоглебска, поручив мне хранение брезентов, мешков и починку их.

Там я познакомился с обширной группой интеллигентов. Почти все они были «неблагонадежны», извели тюрьмы и ссылку, они много читали, знали иностранные языки, все это – исключенные студенты, семинаристы, статистики, офицер флота, двое офицеров армии.

Эту группу – человек шестьдесят – собрал в городах Волги некто М. Е. Ададулов, делец, предложивший Правлению Грязе-Царицынской дороги искоренить силами таких людей

невероятное воровство грузов. Они горячо взялись за это дело, разоблачали плутни начальников станции, весовщиков, кондукторов, рабочих и хвастались друг перед другом удачной ловлей воров. Мне казалось, что все они могли бы и должны делать что-то иное, более отвечающее их достоинству, способностям, прошлому, – я тогда еще не ясно понимал, что в России запрещено «сеять разумное, доброе, вечное».

Я шел по середине, между первобытными людьми города и «культуртрегерами» своеобразного типа, и мне было хорошо видно несоединимое различие этих групп.

Весь город, конечно, знал, что «ададуровцы» «политики, – из тех, которых вешают», и, зорко следя за работой этих людей, ненавидел, боялся их. Жутко было подмечать злые, трусливо-мстительные взгляды обывателей, – они ненавидели «ададуровцев» и за страх, как личных врагов своих, и за совесть, как врагов «веры и царя».

Мой знакомый токарь, Павел Крюков, сидя со мною в кабаке за бутылкою пива, громко рассуждал:

– Как можно допускать к делу этаких людей? Их надо гнать на необитаемые острова, – в Робинзоны их отдать! А – того лучше – перевешать! Два года тому назад вешали их в Питере.

Крюков был человек весьма начитанный, увлекался географией и стихами Жуковского, имел штук двадцать хороших книг и среди них «Процесс первого марта». Таинствен-

но давая мне эту книгу, он сказал:

– Вот, почитай, каковы они! Берегись, гляди, – ни за грош погубят!

Так рассуждал не один он, разумеется.

... Я познакомился с литератором Старостиным-Маненковым – он служил в канцелярии товарного отдела Грязе-Царицынской дороги.

Среднего роста, полный, Старостин напоминал скопца безволосым пухлым лицом и бесцветными мертвыми глазами; тяжелая походка, неуверенные движения усиливали это сходство. Его дряблое тело являлосьместилищем разнообразных болезней, – мнительность усиливала и обостряла их. Он непрерывно охал, кряхтел, кашлял и плевал по всем направлениям, – в ящик из-под макарон, служивший ему для рваной бумаги, в горшки цветов на подоконниках, в пепельницу и просто на пол, к двери. Понатужится, плюнет, посмотрит на результат и, сокрушенно покачивая лысоватой головой, скажет:

– Плохо!

Вечерами в своей маленькой комнатке с кумачными занавесками на окнах, горшками фуксий и гераней на подоконниках, с иконой мучеников Кирика и Улиты в углу, он, сидя за столом, тяжело нагруженным ворохами исписанной бумаги, пил маленькими рюмочками водку, закусывал репчатым луком и жаловался, тонко взвизгивая:

– Глеб Успенский глумится над мужиком, а я пишу кро-

вью сердца! Ты, читающий человек, – ну скажи мне: где, в чем, какая разница между Успенским и Лейкиным? Однако его печатают в лучших журналах, а – я...

Рассказы Старостина печатались в провинциальных газетах, но один или два были помещены, кажется, в журнале «Дело». – Старостин любил, чтоб ему напоминали об этом.

Я напоминал.

– Много ли? – печально, но уже не так жалобно, восклицал он.

– Много.

Он сполз со стула на пол, полез на четвереньках под широкую кровать и, вытащив оттуда большой узел, завязанный в серую шаль, хлопнул по узлу ладонью, поднял облако пыли, закричал, задыхаясь:

– Вот – все готово! Соком сердца написано! Да-да! Кровью...

Лицо его багровело, глаза наливались пьяной слезой, но однажды, трезвый, он прочитал мне только-что написанный им рассказ о мужике, который во время пожара спас от гибели в огне любимую лошадь станового пристава, а пристав, за час до этого подвига, выбил герою мужику два зуба за кражу шкворня. Мужик сильно ожегся, геройствуя, его отправили в больницу.

Прочитал Старостин эту трогательную историю и радостно заплакал, забормотал восхищенно:

– Как это хорошо, как задушевно написано! Н-да, брат, д-

да! Учись, вникай в душу...

Рассказ очень не понравился мне, но я тоже едва не заплакал, видя радость автора. Его искреннее чувство так же искренно волновало и меня.

Но отчего же плакал этот неприятно смешной человек. Я попросил его дать мне рукопись и дома еще раз прочитал ее. Нет, рассказ был написан слащаво и нарочито жалобно, как пишутся фальшивые прошения «несчастных страдальцев» добрым и богатым вдовам. А все-таки, чем же вызваны искренние слезы автора и эта детская радость его?

– Не нравится мне рассказ, – сознался я Старостину.

Любовно складывая страницы рукописи, он вздохнул:

– Груб ты! И непонятлив.

– Что вас трогает в нем?

– Душа! – сердито крикнул он. – Душа в нем сияет!

Покричав на меня, сколько ему нравилось, он выпил водки и внушительно заговорил:

– Учись! Вот стихи пишешь ты, это глупо. Этого не надо. Надсоном ты не будешь, у тебя не та закваска, у тебя сердца нет, ты человек грубый. Помни: на стихах Пушкин погубил свой недюжинный талант. Проза – вот настоящая литература, – святая, честная проза.

Он сам служил для меня олицетворением этой святой прозы, а густой чад ее уже и тогда душил меня.

У Старостина была любовница, его квартирная хозяйка, женщина с полупудовыми грудями и задом, который не по-

мещался на стуле. В день ее именин Старостин торжественно поднес ей широкое плетеное кресло, – это очень тронуло женщину. Трижды поцеловав возлюбленного в губы, она сказала, обращаясь ко мне:

– Вот, молодой юноша, учитесь у старших, как надо ублажать даму.

Старостин стоял рядом с нею, счастливо улыбался и дергал пальцами свои серые уши, мягкие, как у собаки.

Был яркий день конца марта, на окнах обильно цвели фикусы, в комнату вливался весенний лепет вешних вод, в комнате стоял густой запах горячего пирога, мыла и табаку.

Юность и малограмотность не мешали мне тревожно чувствовать скрытые в «святой, честной прозе» возможности тяжких и пошлых драм.

Мечтая о каких-то великих подвигах, о ярких радостях жизни, я охранял мешки, брезенты, щиты, шпалы и дрова от расхищения казаками ближайшей станции. Я читал Гейне и Шекспира, а по ночам, бывало, вдруг вспомнив о действительности, тихонько гниющей вокруг, часами сидел или лежал, ничего не понимая, точно оглушенный ударом палки по голове.

В городе, насквозь пропитанном запахами сала, мыла, гнилого мяса, городской голова приглашал духовенство служить молебны об изгнании чертей из колодца на дворе у него.

Учитель городского училища порол по субботам в бане

свою жену; иногда она вырывалась от него, и нагая, толстая, бегала по саду, он же гонялся за нею с прутьями в руках.

Соседи учителя приглашали знакомых смотреть на этот спектакль сквозь щели забора.

Я тоже ходил смотреть – на публику; подрался с кем-то и едва не попал в полицию. Один из обывателей уговаривал меня:

– Ну, чего ты разгорячился? Ведь на этакую штуку всякому интересно взглянуть. Такой случай и в Москве не покажут.

Железнодорожный конторщик, у которого я нанимал угол за рубль в месяц, искренно убеждал меня, что все евреи не только мошенники, но еще и двуполые. Я спорил с ним, и вот, ночью, он в сопровождении жены и ее брата подошел к моей койке, желая освидетельствовать: не еврей ли я? Нужно было вывихнуть ему руку и разбить лицо его брату, чтобы отвязаться от них.

Кухарка исправника подмешивала в лепешки свою менструальную кровь и кормила ими своего знакомого машиниста, чтобы возбудить у него нежное к ней чувство. Подруга кухарки рассказала машинисту о страшном колдовстве, – бедняга испугался, пришел к доктору и заявил, что у него в животе что-то возится, хрюкает. Доктор высмеял его, а он, придя домой, залез в погреб и там повесился.

Я рассказывал о всех этих и подобных им событиях «ада-дуровцам», они относились к ним, как к забавным анекдотам.

там, и весело хохотали, к моему удивлению.

Рассказывая, я искал объяснения фактов, но не находил объяснения. Повести мои оценивались, как смешные или скверные анекдоты, и чаще всего слушатели утешительно говорили мне:

– Не обращайтесь внимания на этих людей, просто, они с жиру бесятся!

Но я видел, что хотя живут только для того, чтоб есть, и любовнее всего занимаются накоплением запасов разнообразной пищи, как будто ожидая всемирного голода, однако это они командуют жизнью, они грязно и тесно лепят ее. После всего, что я видел, жизнь хороших, умных интеллигентов казалась мне скучной, бесцветной, она тянулась как бы в стороне от полоумной темной суеты, которая создавала липкий быт бесконечных буден. Чем более внимательно наблюдал я, тем более неловко и тревожно чувствовал себя. Мне казалось, что интеллигенты не сознают своего одиночества в маленьком грязном городе, где все люди чужды, враждебны им, не хотят ничего знать о Михайловском, Спенсере и ни мало не интересуются вопросом о том, насколько значительна роль личности в историческом процессе?

На вечеринках интеллигенты осторожно ухаживали за какими-то серенькими женщинами, две из них, сестры, были удивительно похожи на летучих мышей.

Коренастый, колченогий Мазин, бывший офицер флота, увлекаясь Шопенгауером, красноречиво и восторженно го-

ворил о «метафизике любви», «инстинкте рода», когда он немножко картаво произносил эти слова, летучие мыши, поджимая ноги, опускали черненькие глазки, плотно кутались в свои крылатые серенькие тальмочки, как будто опасаясь, что слова философа могут обнажить их.

И вскоре Мазин получил от брата летучих мышей, крупного чиновника Правления дороги, такую записку:

– Если вы, сударь, не перестанете в присутствии моих сестер разговаривать о метафизиках любви, то я вам, во-первых, морду побью, а во-вторых, подам жалобу на вас Начальнику дороги.

Присматривался я ко всему этому, прислушивался и вспоминал ночи у Петровского, где обнаженно до глубины своей разыгрывалась буйная и темная драма инстинкта и, ослепляя разум, показывала безумные, отчаянные игры любви. Полу-дикие люди, воры и пьяницы возвышались до экстаза, великолепно и умело распевая красивые, сердечные песни своего народа, а «философы», «радикалы», «народники» нескладно пели ноющие, пошленькие стишки: «Не осенний, мелкий дождичек», «Там, где тинный Булак» или:

*Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать земли вращенье.
Дурак!..*

У меня не хватало ни разума, ни воображения, никаких

сил, чтоб соединить эти два мира, разъединенные глубокой трещиной взаимного отчуждения.

Вот и в этот час, когда я пишу о том, что было более тридцати лет тому назад, пишу и ясно вижу пред собою тех и этих людей, я чувствую полное бессилие нарисовать словами фигуры близоруких книжников в очках и пенснэ, в брюках «на выпуск», в разнообразных пиджаках и однообразно пестрых мантиях книжных слов. И это не потому, что одни грубы, угловаты, их легко взять, а другие гладко вылощены утюгами книг, – нет, здесь, на мой взгляд, дана глубокая, почти племенная, во всяком случае, внутренняя разобщенность⁴.

На одной стороне бессмысленно и безысходно мечется сила инстинкта, на другой – бьется обескрыленной птицей разум, запертый в грязной клетке быта. Я думаю, что ни в одной стране земли творческие силы жизни не оторваны так далеко друг от друга, как это случилось у нас на Руси. Когда я почти со страхом рассказывал о ночных радениях у Петровского, я, порою, чувствовал скрытую зависть людей «культуры» к радостям жизни дикарей, и нередко мне казалось, что утехи Петровского осуждаются не по существу, а внеш-

⁴ Тревожное ощущение духовной оторванности интеллигенции, как разумного начала, от народной стихии всю жизнь более или менее настойчиво преследовало меня. В литературной работе моей я неоднократно касался этой темы, ею вызваны рассказы «Мой спутник» и другие. Постепенно это ощущение перерождалось в предчувствие катастрофы. В 1905 году, сидя в Петропавловской крепости, я пытался разработать эту же тему в неудачной пьесе «Дети Солнца». Если разрыв воли и разума является тяжкой драмой жизни индивидуума, – в жизни народа этот разрыв – трагедия.

не, формально, из чувства «приличия».

Только П. Е. Баженов сказал, глубоко вздыхая:

– Ф-фа! Как это жутко!

И, подумав, покусав бороду, добавил:

– Я бы среди них пропал, как бык в трясине. Чем сильнее движения тем скорее засасывает трясина. Да. Я понимаю, что влечет к ним таких, как вы: – мы живем пресной жизнью, не празднично и мелко. А там – почти эпос, эпическая жизнь. Знаете, – этот Петровский давно уже под судом, – но у него есть «сильная рука» в Правлении.

Недавно у него был обыск по новому делу: кража чая из вагона. Он вынул из стола бумагу и сказал, подавая ее следователю: «Здесь честно записано все, что я украл».

Нахмурясь, Баженов задумчиво прикрыл глаза, закинул руки свои за шею, помолчал, потом усмехнулся, говоря:

– Честно – украл. Только русский человек может сказать так, уверяю вас! Мы, кажется, и в самом деле призваны соединять несоединимое. Страшно веселимся, жестоко любим... И так далее, в этом духе...

Встав со стула, он потянулся, широко развел руки и заключил:

– А, все-таки, – хороший народ мы, русские! Оттого, должно быть, и несчастны сверх меры...

Баженов был один из немногих людей, которые вызывали у меня чувство глубокой симпатии и сердечного уважения. Томский семинарист, он после долгих хлопот поступил

в Киевский университет, но со второго курса его исключили за «неблагонадежность», и несколько месяцев он сидел в тюрьме. Волосатый, похожий на переодетого священника, он двигался с осторожностью силача, и это придавало его крепкой высокой фигуре барственную важность, необычную в семинаристе. Обладал необыкновенно мягким голосом, но не имел слуха и относился к музыке почти враждебно, говоря:

– Она зовет в хаос.

С его широкого рябого лица в темной окладистой бороде смотрели ласково прищуренные серые глаза. Что-то снисходительно умное чувствовал я в его отношении ко мне и ко всем людям. Он хорошо рассказывал мне историю развития христианства, увлекательно говорил о сектах первых веков, помогал мне читать «Историю индуктивных наук» Узвелля. Беседуя, он бесшумно и легко расхаживал по комнате, засунув руки в карманы брюк и, подняв брови, резко кивал головою, – единственный жест, которым он подчеркивал наиболее значительные места своей речи. Но порою, среди фразы, не кончив ее, он задумывался, прикусив губами волосы бороды, почесывая мизинцем высокий изрытый оспой лоб, и долго стоял безмолвно. Эти моменты всегда почему-то смутно тревожили меня. Однажды я спросил: о чем он думает?

– Страшно много разума истрачено бесполезно, страшно много, – тихо сказал он. – И – какого разума!

Он часто и убедительно говорил о красоте и силе мысли:

– В конце концов, батя мой, все решает разум, – он – имен-

но – и есть тот рычаг, который со временем перевернет весь мир.

– А – точки опоры? – спросил я.

– Народ, – убежденно ответил он, потряхнув головою. – В частности вы, ваш мозг.

Я очень любил его, сердечно верил ему.

Тихим вечером, лежа с ним в степи, я рассказал ему, как говорил полицейский Никифорыч о жалости и толстовец о Евангелии и Дарвине.

Внимательно и молча выслушав меня, он ответил:

– Дарвин, это – та истина, которую я не люблю, как не любил бы ад, будь он истиной. Но, видите ли, батя мой, – чем меньше трений в частях машин, тем лучше она работает. В жизни – наоборот: чем сильнее трение, тем быстрее идет жизнь к своей цели и к большей разумности. Разумность же – это и есть справедливость, гармония интересов. Рассуждая последовательно, – необходимо признать борьбу благим законом жизни. И тут ваш полицейский прав: если жизнь – борьба, жалость – неуместна.

Он задумался, лежа на спине, глядя в небо широко открытыми глазами.

Солнце, опустясь в облако, раскалило его и расплавилось в нем, превратясь в огромный костер красного огня, красные лучи легли на степь, на седые стебли прошлогодних былиннок брызнуло розоватой росой. Запахи весенних трав и цветов стали сильнее, пьяней.

Баженов вдруг сел, закурил папиросу, но тотчас же отбросил ее, хмуро говоря:

– Я думаю, что гуманизм уже опоздал войти в жизнь, опоздал тысячи на три лет!.. Ну, мне надо идти в город, – идете?

В конце мая меня перевели весовщиком на станцию Крутую Волго-Донской ветки, а в июне я получил из Борисоглебска от приятеля переплетчика письмо, в котором переплетчик извещал меня, что Баженов застрелился в июне, у кладбища. В письме была вложена записка Баженова:

«Миша, продай мои вещи и заплати хозяевам квартиры 7 р. 30 к. А книги Узвелля переплети и пошли на Крутую, Пешкову, Максимычу, «башке». Спенсера – тоже ему. Остальные – тебе. Пачку книг на латинском и греческом пошли в Киев, адрес вложен в них. Прощай, друг! Б.»

Прочитав записку, я испытал оглушающий удар в сердце. Трудно было помириться с уходом из жизни такого, казалось, крепкого духом, трезвого человека.

Что убило его?

Мне вспомнилось, что однажды, в трактире, угощая меня пивом и немного захмелев, он, вдруг, сказал мне:

– Знаете, Максимыч, какая самая лучшая песня в этом мире?

Наклонился через стол и, глядя в глаза мне глазами доброго медведя, тихонько мягким баском пропел печально:

Quand j'etais petit

*Je n'étais pas grand,
J'allais à l'école
Comme les petits enfants...*

Пропел, и глаза его стали влажными.

– Прелестная песенка, честное слово. Такая простота в ней и, знаете, такая смешная печаль...

Он перевел слова песни на русский язык, я не понял, чем восхищается в ней – почти до слез – этот волосатый, большой, умный человек...

После – я видел не мало людей, убитых «смешной печалью».

–

Через несколько месяцев жизнь, сурово, но заботливо воспитывая меня, напомнила мне о Петровском, заставив испытать одно из наиболее тяжких впечатлений бытия моего.

В Москве, в грязном трактире, где-то около Сухаревой башни, за стол против меня сел длинный, тощий человек в очках; его костлявое лицо, остренькая бородка, жидкие – в стрелку – усы напомнили мне Дон-Кихота рисунков Дорэ. На нем висел синий пиджак, явно чужой, нанковые серые штаны с заплатами на коленях были смешно коротки, на одной ноге – резиновая галоша, на другой – кожаный опорок сапога. Покручивая кончики усов, острые как шилья, он голодно осмотрел меня мутными глазами, встал, прилепив очки к

седым бровям, и, пошатываясь, разводя руками, как слепой, подошел ко мне:

– Присяжный поверенный Гладков.

Грязными пальцами расписался с росчерком в воздухе и повторил внушительно:

– Алексей Гладков.

Говоря хрипло, он вертел шеей, точно его душила петля, невидимая мне.

Конечно, он оказался человеком благороднейшего сердца, пострадал за бескорыстное служение правде и низвергнут врагами ее «на дно жизни». Ныне он стоит во главе ордена «Преподобной Аквавита», занимается перепиской ролей для театров, защитою угнетенных невинностей, а также «стрельбою по сердцам и карманам нищелюбивых купчих».

– Россиянин, – а баба его – особенно, – любит страдать: страдание или рассказ о нем – суть духовная горчица, без коей ничто не лезет в сердце, ожиревшее от разнообразной и обильной пищи телесной.

Я уже не мало наблюдал людей этого типа, привык относиться к ним недоверчиво, но – всегда с напряженным интересом, – в человеке, который упрямо лезет куда-то вверх, вполне разумен интерес к людям свалившимся оттуда. А затем так называемые «павшие люди», темные грешники часто бывают духовно богаче и даже красивее признанных праведников, у которых я еще в юности моей замечал нечто общее с восковыми фигурами паноптикумов.

Часа через два я лежал рядом с Гладковым на нарах мрачной ночлежки. Закинув руки под голову, вытянув жердеподобно тело свое, адвокат утешал меня афоризмами волчьей злости, бородака его торчала чортовым хвостиком, вздрагивая, когда он кашлял; – был он трогательно жалок в бессильной злобе своей и весь, как еж, украсился иглами едких слов.

Над нами висел сводчатый потолок подвала, по стене текла рыжая пахучая мокреть, с пола вздымался кислый запах гниющей земли, в сумраке бредили и храпели тела, окутанные лохмотьями. Окно с толстой железной решеткой смотрело в яму, выложенную кирпичем, в яме сидел кот; должно быть больной, – он страдальчески мяукал. – На нарах, под окном сидел по-турецки уродливо толстый волосатый человечище, чинил штаны при свете огарка и хрипуче гудел:

*Взбранной воеводе победительная,
Но яко избавльшися от бед,
Благодарственная восписуем Ти
Раби Твои, Богородице.*

Споет, звучно шлепнет толстыми губами и – начинает тянуть с начала тот же гимн.

– Пимен Маслов – химик, гениальный человек, – сказал о нем Гладков. В этой яме валялось еще несколько гениальных людей, между ними «знаменитейший» пианист Брагин, маленький и ловкий, точно юноша, а в густой шапке волнистых его волос – седые пряди и под глазами – синие мешки.

Меня поразила двойственность его лица: печальной красоте женских глаз непримиримо противоречила кривая усмешка, губы у него были тонкие, злая усмешка эта казалась приклеенной к ним неподвижно, навсегда.

Утром Гладков сказал мне:

– Сейчас мы будем посвящать в кавалеры «Аквавита» новообращенного, вот, этого. Погляди, церемония замечательная.

Он указал мне молодого кудрявого человека в одной рубахе без штанов, – человек был давно и до-синя пьян, голубые зрачки его глаз бессмысленно застыли в кровавой сетке белков. Он сидел на нарах, перед ним стоял толстый химик, раскрашивая щеки его фуксином, брови и усы жженой пробкой.

– Не надо, – бормотал кудрявый, болтая голыми ногами, а Гладков говорил мне, закручивая усы.

– Купеческий сын, студюозус, пятую неделю пьет с нами. Все пропил деньги, одежду...

Явилась круглая жирная баба с провалившейся или перебитой переносицей и наглыми глазами; она принесла сверток рогож и бросила его на нары, сказав:

– Облечение – готово...

– Одеваться! – крикнул Гладков.

Пятеро угрюмых людей призрачно двигались в темноте подвала, серые, лохматые; «пианист» старательно раздувал угли в кастрюле. Люди изредка, ворчливо, перекидывались

краткими словами:

– Двигай...

– Тише!

– Стой, куда?

Выдвинули нару на середину подвала. Маслов напялил на себя ризу из рогожи, надел картонную камилавку, а Гладков облачился дьяконом.

Четверо людей схватили кудрявого студента за ноги и за руки.

– Не надо – пожалуйста! – вздохнул он, когда его уложили на нару.

– Хор готов? – крикнул адвокат, размахивая кастрюлей и окуривая лежащего, в ней трещали угли, из нее поднимался синий дым тлеющих листьев веника, человек, лежа на нарах, морщился, кашлял, закрыв глаза, сучил ногами как муха, стуча пятками по доскам.

– Вонме-ем! – возгласил Гладков; одетый в рогожи он стал карикатурно страшен; как-то особенно резко крутил шей, вздергивал голову и кривил лицо.

Маслов, стоя в ногах студента, гнусовато на распев заговорил:

– Братие! Возопиим ко Дьяволу о упокоении свежепогибшего во пьянстве и рабстве Вавилонстием болярина Иакова, да примет его сатана с честью и радостью и да погрузит в мерзость адову во веки веко-ов!

Пятеро лохматых оборванцев, тесной грудой стоя с пра-

вой стороны нар, мрачно запели кощунственную песнь; хриплые голоса звучали в каменной яме глухо, подземно. Роль регента исполнял Брагин, красиво дирижируя правой рукой, предостерегающе подняв левую.

Трудно было удивить меня бесстыдством, – слишком много видел я его в разных формах, – но эти люди пели нечто невыразимо мерзкое, обнаружив сочетанием бесстыдных слов и образов, поистине, дьяволоу фантазию, безграничную извращенность. Ни прежде, ни после этого, до сего дня, я не слышал ничего извращенного более утонченно и отчаянно. Пять глоток изливали на человека поток ядовитой грязи, – они делали это без увлечения, а как нечто обязательное, они не забавлялись, – а – служили, и ясно было служат не впервые, церемония уничтожения человека развивалась гладко, связно, торжественно, как в церкви.

Подавленный, я слушал все более затейливо гнусные возгласы Гладкова, циническое чтение «химика», глухой рев хора и смотрел на человека, которого заживо отпевали, служа над ним кощунственную литургию.

Сложив руки на груди, он шевелил губами, неслышно бормотал и кричал что-то, моргал вытаращенными глазами, глупо улыбался и – вдруг испуганно вздрагивал, пытаясь соскочить с нар, – хористы молча прижимали его к доскам.

Вероятно, «церемония» показалась бы менее отвратительной, если бы грязные призраки смотрели на нее как на забаву, игру, – если бы они смеялись, хотя бы, смехом ци-

ников, смехом отчаяния «бывших людей», изуродованных жизнью, горько обиженных ею. Но они относились к своему делу с угрюмой напряженностью убийц, они вели себя, как жрецы, принося жертву духу болезненно и мстительно разнужданного воображения.

Обессиленный, онемев, я чувствовал, что страшная тяжесть давит меня, погружая в невылазную трясиину, что эти призрачные люди отпевают, хоронят и меня. Помню, что я глупо и растерянно улыбался и был момент, когда я хотел просить:

– Перестаньте, это нехорошо, – это – страшно и вовсе не шутка.

Особенно резал ухо и сердце тонкий голос «пианиста»; пианист надорванно выл, закрыв глаза, закинув голову, выгнув кадык; его вой, покрывая хриплые голоса других певцов, плавал в дымном сумраке, и как-то особенно сладострастно обнажал мерзость слов. Меня мутило звериное желание завывать, зарычать.

– Могила! – крикнул Гладков, взмахивая кадиллом-кастрюлей.

Хор во всю силу грянул:

*Гряди, гряди,
Гроб, гроб...*

и – вошла баба с перебитым носом, совершенно голая, она

шла приплясывая, ее дряблое тело вздрагивало, груди кошелками опускались на живот, живот свисал жирным мешком на толстые ноги в лиловых пятнах шрамов и язв, в синих узлах вен.

Маслов встретил ее непристойным жестом, дьякон Гладков повторил этот жест, баба, взвизгивая гадости, приложилась к ним поочередно; хористы подняли ее за руки, за ноги и положили на нару рядом с отпетым.

– О-о, не надо, – крикнул он визгливо, попытался спустить ноги с нар, но его прижали к доскам и под новый, почти плясовой, а все-таки – мрачный мотив отвратительной песенки, баба наклоняясь над ним, встряхивая грязно-серыми кошелками груди, начала мастурбировать его.

Тут я вспомнил «Королеву Марго» – лучшее видение всей жизни моей, – в груди ярко взорвалось что-то, я бросился на эти остатки людей и стал бить их по мордам.

...К вечеру я нашел себя под насыпью железнодорожного пути, на груди шпал, пальцы рук моих были разбиты, сочились кровью, левый глаз закрыла опухоль. С неба, грязного как земля, сыпался осенний дождь, я срывал пучки мокрой жухлой травы и, вытирая ею лицо, руки, думал о том, что было показано мне.

Я был здоров, обладал недюжинной силой, мог девять раз, не спеша, истово перекреститься двухпудовой гирей, легко носил по два пятипудовых мешка муки, – но в этот час я чувствовал себя совершенно обездушенным, ослабевшим, как

больной ребенок. Мне хотелось плакать от горькой обиды. Я жадно искал причаститься той красоте жизни, которой так соблазнительно дышат книги, хотел радостно полюбоваться чем-то, что укрепило бы меня. Уже наступило для меня время испытать радости жизни, ибо все чаще я ощущал приливы и толчки злобы, – темной жаркой волною она поднималась в груди, ослепляя разум, сила ее превращала острое мое внимание к людям в брезгливое, тяжелое презрение к ним.

Было мучительно обидно, – почему я встречаю так много грязного и жалкого, тяжело глупого или странного?

Было страшно вспоминать «церемонию» в ночлежке, сверлил ухо крик Гладкова:

– Могила! – и расплывалось перед глазами отвратительное тело бабы, куча злой и похотливой мерзости, в которую хотели зарыть живого человека.

И тут, вспомнив разнузданность «монашеской жизни» Петровского, я почувствовал, как невинно бешенство плоти здоровых людей, сравнительно с безумием гнили, не утратившей внешний облик человека.

Там было некое идолопоклонство красоте; там полудикие люди молились от избытка сил, считая этот избыток грехом и карою, – может быть, бунтуя в призрачной надежде на свободу, боясь «погубить душу» в ненасытной жажде тела.

Здесь – бессилие поникло до мрачного отчаяния, до гнуснейшего, мстительного осмеяния того инстинкта, который непрерывно победоносно засекает опустошенные смертью

поля жизни и является возбудителем всей красоты мира; здесь свински подрывали самый корень жизни, отравляя гноем больного воображения таинственно прекрасные истоки ее.

Но – что же это за жизнь там, наверху, откуда люди падают так страшно низко?

ЗАМЕТКА ЧИТАТЕЛЯ

Одно из самых крупных событий двадцатого века то, что человек, научившись летать над землею, тотчас же перестал удивляться этому. Утрату человеком удивления пред выдумками его разума, пред созданием его рук, я считаю фактом огромной важности, и мне кажется, что человек двадцатого века начинает думать уже так:

– Летаю в воздухе, плаваю под водою, могу передвигаться по земле со скоростью, которая раньше не мыслилась, открыл и утилизирую таинственный радий, могу разговаривать с любой точкой планеты моей по телефону без проволок, как будто скоро уже открою тайну долголетия. Что там еще скрыто от меня?

И дерзко, упорно исследуя хитрости природы, главного врага его, человек все быстрее овладевает ее силами, создавая для себя «вторую природу». При этом он продолжает жить в высшей степени скверно и все сквернее относится к «ближнему», подобному себе.

Я думаю, что скверненькая жизнь так и будет продолжаться до поры, пока человек не поймет, что его основным свойством должно быть удивление пред самим собою. Пред самим собою, во всей полноте своих творческих сил, он еще никогда не удивлялся, а ведь в мире нашем только это, только

ко силы его разума, воображения, интуиции и неутомимость его в труде, действительно, достойны изумления.

Странно, даже несколько смешно наблюдать удивление человека пред граммофоном, кинематографом, автомобилем, но неутомимый творец множества остроумных полезностей и утешающих забав – человек не чувствует удивления пред самим собою. Вещами, машинами любятя так, как будто они явились в наш мир своей волею, а не по воле существа, создавшего их.

* * *

Человек значит неизмеримо больше, чем принято думать о нем, и больше того, что он сам думает о себе. Говоря так, я говорю о совершенно конкретном человеке, украшенном множеством недостатков и пороков, о великом грешнике против ближнего и против себя самого. Известно, что он служит вместилищем семи смертных грехов.

Завистлив, но, тысячелетия завидуя полету птиц, научился и сам летать птицей.

Жаден до чужой силы, но, питаясь ею, создал бесчисленное количество разнообразных сокровищ и, в их числе, великолепные машины, уже значительно облегчающие тяжесть труда его.

Любострастен, но в греховном тяготении своем к женщине выдумал для соблазна ее и для украшения себя поэзию бессмертной красоты.

Лжив, – но выдумал то, чего не было: прекрасные мифы,

веселых богов Олимпа и Прометея, врага им, выдумал Валгаллу и сатану, множество волшебных сказок и необыкновенных людей – дон Кихота, Робинзона Крузо, Гамлета, Фауста и десятки подобных.

Скуп, ибо слишком любит копить пустяки и все-таки слишком жалеет тратить силы свои для достижения лучшего, чем то, чего он уже достиг.

Горд, но я думаю, что это не грех, потому что с той поры как он начал ходить на задних ногах, а передние развил как искуснейшее орудие всех орудий, он имеет право гордиться собою.

Ленив, – вот самый тяжкий из всех смертных грехов его, именно благодаря лени и преждевременному стремлению к покою, он так медленно изменяет постыдные и мучительные условия его жизни.

Затем я бы сказал о человеке так: это самое загадочное существо из всех населяющих землю, существо, одаренное безграничной силою воображения, неутомимой жаждой творчества, дерзкой страстью к разрушению содеянного им, замечательной способностью всесторонне осмеивать самого себя и неумением удивляться себе самому. Вероятно, мудрецы, которые предпочитают видеть человека в звериной шкуре, скажут, что я украсил его хвостом павлина.

Кроме смертных грехов, часть которых только украшает его, человек, как это известно, – испачкан и засорен множеством мелких, дрянненьких грешков.

Но я не моралист, это ясно из сказанного выше, копать в хламе дрянненьких грешков я не стану, считая такое занятие крайне вредным. Вредным, – потому что пристальное рассматривание и подчеркивание маленьких человеческих слабостей как раз и устанавливает удобный для строгих судей мира, но унижающий человека «бытовой» взгляд на него, как на ничтожество по природе. Взгляд этот очень приятен любителям «духовной чистоты», кротости и покорности некоторым, издревле «господствующим идеям», на коих и основано «общество», ныне изгнившее до корней своих.

Этот взгляд разрешает относиться к человеку, как, примерно, к сырую или – в лучшем случае – «полуфабрикату». Попирая человека «под нозы своя», моралисты монументально возвышаются над ним, и это их вполне удовлетворяет.

Разумеется, я не буду спорить против того, что человек иногда охотно оправдывает звание ничтожества, я сам нередко видел и вижу его таковым. Но я твердо знаю, что, по силе условий «социального воспитания», человеку очень легко быть «плохим», и что у него слишком мало причин

быть «хорошим», а если он все-таки хорош, так это – его личная заслуга. Со стороны своей «плоховатости» человек мало интересен и не этим он удивителен.

Для меня человек по природе его – великомученик, у которого нет желания сделаться святым, и, погрузясь в дела мира сего, он стал просто великим человеком. Де Фоэ, Ломоносов, Руссо, Пушкин, Байрон, Менделеев, Лессепс и сотни подобных – вот что есть человек по природе своей. Надеюсь, я никого не обижу, напомнив, что некоторые из названных мною гениальных людей были людьми весьма «сомнительной нравственности».

Отсюда, конечно, не следует, что, почувствовав приступы гениальности, необходимо скандалить, как это делали и делают некоторые из современных молодых литераторов на Руси. В возрасте между пятнадцатью и двадцатью пятью годами почти все люди чувствуют себя гениями, но в большинстве случаев это нечто подобное ложной беременности: симптомы те же самые, как и при настоящей, а внутри – пусто.

Мне кажется, что было бы очень полезно смотреть на жизнь «пессимистически», а к человеку относиться со всем возможным оптимизмом.

Противоречие? Нет, почему же? Жизнь все еще, покамест, неудачная работа прекрасных мастеров.

Такой взгляд на человека уже не разрешает рассматривать его, как ничтожество, как материал для построения чьего-то благополучия – и вместе с тем этот взгляд способствует ро-

сту чувства неудовлетворенности человека своею работой. Жизнь будет всегда достаточно плоха для того, чтоб желание лучшего не угасало в человеке.

* * *

В начале девятнадцатого века было сказано:

– «Государства создаются того ради, чтоб обуздывать своеволие людей и пресекать дерзостные фантазии разума их».

Очень хорошо сказано в смысле искренности, прескверно по существу.

Но вот, десять лет тому назад, в России возникла новая форма государства, и цель его, как я понимаю, дать свободу творческим силам всей массы народа. Этот народ особенно нуждается в изменении привычной, глубоко вкоренившейся в нем оценки человека, как ничтожества. Фантастическая работа, которая начата у нас, напряжение, с каким она творится, наконец те результаты, которые эта работа уже дает, все это как нельзя лучше говорит в пользу взгляда, что человек вообще лучше того, как о нем привыкли думать.

Вероятно – спросят:

– Но почему же все человек, человек, когда нужно говорить о творчестве масс? Нет ли тут индивидуализма?

Я думаю, есть некоторая доза, но нет никаких причин опасаться ее, ибо, как известно, в небольших дозах яды полез-

ны организму. Фосфор – яд, но без него не проживешь. Бесспорно, что масса – радиоактивное вещество, но необходим ряд условий для того, чтоб извлечь из нее чистый радий.

В Советской республике условия эти частью уже созданы и продолжают непрерывно развиваться. Культурный рост рабочего и крестьянина – факт неоспоримый. Следует сказать, что еще не было и нет государственной организации, которая заботилась бы о культурном воспитании народа так умело и усердно, как это делается в России. Я говорю об этом не только потому, что знаком с такими отличными изданиями, каковы «Крестьянская» и «Рабочая» газеты, еженедельники «Работница», «Крестьянка», превосходный журнал «Хочу все знать», «Сам себе агроном» и десятки других изданий, в высшей степени заботливо и умело обслуживающих культурные запросы трудящихся на земле и на фабриках; говорю не потому, что внимательно, поскольку могу, – слежу за работой селькоров и рабкоров и личным – интеллектуальным ростом этих, поистине, «новых» людей, – нет, не только это, известное и помимо меня, дает мне смелость говорить уверенно о культурном росте трудовой массы.

Гораздо большее значение имеют письма ко мне различных молодых и пожилых людей деревни и города, письма, из которых совершенно ясно видишь, как растет и углубляется интерес русского человека к своей стране и, вообще, к миру, к науке, к литературе и ко всему, что есть жизнь. Показателен и количественный рост «изобретателей» в об-

ласти техники и особенно любопытен тот факт, что в этой области начинают работать женщины. Кстати: «Нижегородский астрономический календарь» – единственный в России, издающийся уже тридцать девять лет, отметил работу двух женщин астрономов, Богуславскую и Ушакову, как «ловцов комет», указывая, что это «первый случай». Вообще быстрый рост общественной активности среди женщин явление огромной важности, а особенно изумительна эта активность среди женщин-мусульманок.

Что Россия живет в тяжелых условиях – это так же неоспоримо, как и то, что над созданием и укреплением этих условий усердно трудятся правительства высококультурных стран Европы, чему отнюдь не мешает мудрая инертность и немота европейских социалистов, тоже весьма культурных.

Но, несмотря на тяжесть условий жизни и вопреки им, творческая мощь России быстро растет. Об этом говорит, например, тот факт, что – как заявлено было в Москве, на съезде физиков – в то время как раньше в европейских журналах печаталось за год двадцать-тридцать докладов русских ученых, ныне печатается до ста и свыше ста докладов. При царизме ежегодно ресурсы геологического комитета не превышали нескольких сот тысяч рублей. Сейчас бюджет комитета поднялся до шести миллионов рублей в год, а в культурных государствах Запада после войны ассигновки научным учреждениям значительно сокращены. Обилие научных открытий, широкое развитие краеведчества, рост количества

научных экспедиций, ряд новых научных учреждений, институтов, наконец успешность по электрификации страны, все это и еще многое должно бы убедить и слепых и глухих, что Россия, действительно, начала жить новой жизнью, и что человек ее стал более значительным человеком, чем он был десять лет тому назад.

Но у меня нет желания убеждать в чем-либо людей, «униженных и оскорбленных» собственным их бессилием.

* * *

Попутно расскажу о том, как иногда забавно «выявляется» чувство мести «униженных и оскорбленных».

Хоронили Германа Лопатина, одного из талантливейших русских людей. В стране культурно дисциплинированной такой даровитый человек сделал бы карьеру ученого, художника, путешественника, у нас он двадцать лет, лучшие годы жизни, просидел в Шлиссельбургской тюрьме.

За гробом его по грязному снегу угрюмо шагали человек пятьдесят революционеров, обиженных революцией, и среди них качалась грузная фигура одного из друзей умершего, — Герман Лопатин весьма щедро одарял людей своею дружбой.

Грузный человек шел в глубоких желтого цвета галошах-ботинках; галоши были настолько малы для ног слона, что он стоптал их, каблуки приходились почти на середину подошв; наверное ему было очень трудно и даже больно

нести свое большое тело на ногах, так неудобно обутых. Я вспомнил, что накануне видел его в черных, крепких ботинках, они были как раз по ноге его. Должно быть, он продал и «проел» их. Но дня через два я снова встретил его в знакомой мне крепкой и удобной обуви.

– А я думал, вы продали галоши?

– Почему?

Я объяснил.

– Нет, – сказал он и широко улыбнулся. – Но я хотел придать еще более нищенский и постыдный вид похоронам одного из крупнейших русских революционеров. Пусть эта самочинная власть видит и поймет и устыдится...

Он сказал это торжественным тоном гражданина и борца. Да, именно так.

А я подумал о человеке, галоши которого он, стоптав, непоправимо испортил.

Потом подумал о жалком тщеславии «униженных и оскорбленных». Нигде этот постыдный вид тщеславия не принимает таких и смешных и болезненных форм, как у нас в России.

Напомню, что в те дни «самочинная» власть с величайшим напряжением своей энергии работала над организацией защиты революции.

Никогда еще в России не было такого количества молодежи, пишущей стихи и прозу; можно сказать, что страсть к литературе приняла характер эпидемии. Зная, в каких ужасных условиях работают молодые литераторы, я, разумеется, не позволю себе думать, что литература привлекает их только как «легкий труд». Во-первых, это труд вовсе не легкий, а, во-вторых, совершенно ясно видишь и чувствуешь, что молодежь понуждает писать ее насыщенность «впечатлениями бытия». Я прочитал, вероятно, сотни две книг, написанных молодыми литераторами, и полагаю, что это дает мне право говорить о них. Но я не принадлежу к тем людям, которые, не умея плавать, пробуют учить других искусству плавания.

Меня занимает вопрос об отношении молодой литературы к герою всех драм, романов и рассказов, к «хозяину жизни» – человеку, врагу природы, окружающей его, создателю «второй природы» на основе познанных и порабощенных им сил первой, врагу и «ветхого Адама» в себе самом. Мне кажется, что «ветхий Адам» более понятен и более интересен молодой литературе, чем Прометей, похититель небесного огня и враг богов. Во всех книгах действует, – а чаще, бездействуя, только говорит – человек вчерашнего дня, засоренный и запачканный мелкими грешками, осколками великих и дерзновенных смертных грехов.

Конечно, и маленький грешник – хороший материал для большого художника, если художник умеет преувеличить его ничтожество так, как умел делать это Ф. М. Достоевский, который хорошо знал, что подлинное искусство вообще и всегда более или менее преувеличивает действительность.

Для молодой литературы человек остается все еще ничтожеством, хотя многие из авторов на протяжении десяти лет видели его героем, а некоторые и сами лично принимали участие в событиях героических. И все-таки человек остался в их глазах человеком «для того, чтобы», а не человеком «потому, что» он есть источник самой изумительной энергии, преодолевающей все сопротивления.

Приятно видеть, что как будто исчезла тема: правоверный, но наивный сердцем коммунист и соблазняющая его на грешок прелестная, но буржуазная барышня. Но, кажется, тема эта исчезла только потому, что за десять лет барышня, несколько постарев, утратила необоримую соблазнительность свою. Спасибо ей за это! Разумеется, я шучу и вовсе не склонен понижать значение женщины в деле «очеловечивания» нашего брата, но меня несколько смущает тот факт, что в стране, где стремятся создать бесклассовое общество, литераторы продолжают изображать женщину все еще с точки зрения классовой, т. е. опять-таки, в большинстве случаев, ничтожеством, «вредной штучкой», как сознался мне один храбрый молодой писатель. Другой на вопрос: почему он унижает подругу жизни? – неловко ответил:

– Я – не унижаю, а таков быт.

Короче говоря – и повторяясь – описывают все еще старорусского человека и таким, как будто бы прожитые трагические годы ничего не изменили в нем. Не верится, что это – правда. Но если даже и правда, жив и нимало не изменился старый человек, – разве именно он характерен для нашего времени? В большинстве своем люди этого типа – Лазари, которых не воскресит даже чудесная сила искусства. Затем: в кулачных боях есть прекрасное правило, обязательное для каждого честного бойца: «лежачего не бить», если он и шевелится.

Фотографировать судороги агонии, может быть, и полезно в интересах медицины, но это занятие не имеет отношения к искусству. Духовное умирание даже и неприятного нам человека все-таки скверное зрелище, точно так же, как и зрелище физической смерти, о преодолении которой ныне столь дерзко и упрямо мечтает наша человеческая наука.

Фотографии успешно служат для уловления преступников, но чаще для порчи стен снимками с «красивых уголков природы», симпатичных барышень, знаменитых артистов и прочих редкостей. В литературе фотографии еще более неуместны.

* * *

Человек-товарищ изображается в таком ослепительном

освещении, что его уже совсем не видишь; человека-врага принято изображать одноцветно-черным и почти всегда дураком. Не думаю, чтоб это было правильно.

Где два врага, там – два героя. Писатель, который хочет быть художником, должен быть немного историком и знать, что враг – очень хороший учитель в деле борьбы, хотя его уроки и дорого стоят. И всегда полезнее видеть врага более сильным, чем он есть на самом деле.

Возможно, что это будет не совсем кстати, но все-таки я расскажу кое-что о враге.

* * *

Когда мне было лет девять-десять, у меня был враг Вася Ключарев, ровесник мой, сын чиновника, замечательно храбрый кулачный боец, сухонький, но гибкий, как стальной прут. Я с ним дрался при каждой встрече, мы бились до крови, до слез, но плакали не столько от боли, как от горя: ни тому, ни другому не давалась победа. Изобьем друг друга и, обессиленные, разойдемся, обливаясь постыдными слезами, а при новой встрече – снова бой, и снова нет победы! Целую зиму жил я мечтой поколотить Ключарева так, чтоб он признал меня победителем, он, конечно, жил такой же мечтой, и оба мы ненавидели друг друга жестоко, как дети.

На пасхальной неделе я встретил Ключарева в Прядильном переулке, знаменитом не просыхавшей в нем все лето

грязной трясиной, в которой, говорили, лошадь утонула.

По одной стороне переулка во всю длину его тянулись заборы садов, на другой стояли неказистые домики, перед ними проложены были деревянные мостки, и вот по мосткам наступает на меня празднично одетый Ключарев.

Бросился он, но, поскользнувшись, упал, и руки его, почти до локтей, воткнулись в грязь. Я помог ему встать на ноги, он отшатнулся от меня и, глядя на запачканные рукавчики рубахи, сказал с кривенькой усмешкой:

– Высекут.

– Ну?

– Высекут, – повторил он, вздохнув, и спросил:

– Тебя кто сечет?

– Дед.

– Меня – отец.

Я подумал, что и отец тоже, наверное, больно сечет, и мне захотелось утешить врага.

– Пасха, – сказал я. – Может, не высекут...

Но Ключарев безнадежно покачал головой.

Тогда я предложил ему вымыть рукавчики. Он согласился не сразу и молча. Одним своим концом переулок упирался в неглубокий овраг, на дне его стояла лужа, ее именовали: Дюков пруд. Ключарев снял рубашку, я залез по колени в пруд и начал смывать грязь с нее. День был хмуренький, холодный, враг мой вздрагивал и очень грустными глазами смотрел, как смело я терзаю его рубашку. Когда из темно-коричневой она

вся сделалась желтой, он тихонько сказал:

– Все равно видно, что грязная.

Подумав, решили высушить рубашку. Я в то время уже начинал покуривать замечательные папиросы «Персичан», три копейки десяток, у меня в кармане были серные спички. Вылезли из оврага, на пустыре, в развалинах давно сгоревшей кузницы развели небольшой костер и занялись сушкой рубашки. Молчали. О чем говорить с врагом?

От дыма рубашка стала черней. В двух местах мы ее прожгли: немножко рукав и дыру на спине. Это уж было смешно. Мы и посмеялись, конечно, не очень весело. Ключарев, с трудом наклеив на себя рубашку, все-таки еще сырую, вымазал острое лицо свое копотью и хмуро сказал:

– Я пойду домой. Драться сегодня уже не будем.

Ушел. Жалко мне было его. И, честное слово, в тот день я бы с удовольствием подставил свою спину под розги его отца.

Через несколько дней я, снова встретив врага, спросил:

– Пороли?

– Не твое дело, – сказал он, сжимая кулаки. – Становись, давай!

Дрались, кажется, более ожесточенно, чем раньше, а все-таки безуспешно. Прислонясь к забору, высмаркивая кровь из разбитого носа, враг сказал мне:

– Ты стал сильнее.

– Ты – тоже, – ответил я, сидя на тумбе: у меня затек глаз

и была разбита губа.

Мы разошлись, обменявшись этими словами, в которых прозвучала не только горестная зависть, но, может быть, было скрыто взаимное уважение, смутное сознание того, что мы не только враги, но и учителя друг другу.

После этого мы еще дрались раза два-три, но так и не узнали, кто из нас победитель, кто побежденный, ибо мы никогда не рассуждали о том, кому досталось больше и больней.

В августе, после двухдневного ливня, я застиг Ключарева в овраге, на задворках Полевой улицы, он сидел на повалившемся заборе, подпирая челюсти ладонями, и когда он поднял лицо, стало видно, что веки его смелых глаз красны и опухли.

– Я не хочу драться, – сказал он.

– Боишься? – спросил я, чтоб раздражить его, но он ответил:

– У меня сестра умерла. Это бы – ничего, она маленькая, младенец, а есть хуже: меня в кадетский корпус отдают.

Для меня кадетский корпус, огромное здание в Кремле, только тем отличался от арестантских рот, тоже огромных, что корпус был белый, а роты окрашены в неприятно желтую краску. Все большие дома казались враждебными мне, маленькому человеку, я подозревал, что в них пряталась скука, от которой могут лопнуть глаза.

Мне стало жалко врага за то, что его хотят загнать в скуку. Я присел рядом с ним и сказал:

– А ты убеги.

Но он встал и первый раз миролюбиво протянул мне болевую ручонку свою, силу которой мое тело многократно испытало.

– Прощай, брат, – сказал он негромко, глядя не на меня, а в сторону, но я видел, что губы его дрожали.

Очень не хотелось мне сказать ему:

– Прощай!

Но, разумеется, сказал. Долго с грустью смотрел, как медленно, нехотя, любимый враг мой поднимается из оврага по размокшей, скользкой тропе.

И долго после того скучно и пусто было мне жить без врага.

* * *

Рассказец, конечно, детский, наивный. Но наивность – мой горб, его, несомненно, исправит могила, люди же не исправят, даже те двуногие верблюды, которые особенно усердно стараются исправлять чужие горбы.

Кстати, – вот одна из наивностей моих: если люди, рожденные и воспитанные в атмосфере, насквозь анархизированной и отравленной разлагающими ядами множества дрянненьких соблазнов, если, вопреки вполне «естественным» условиям, искажающим их, люди все-таки могут быть неутомимыми, активными врагами этих «естественных

условий» – это значит, что они могут быть, какими хотят быть.

Продолжаю наивности.

Воткнуть штык в живот человека или всадить пулю в голову его, должно быть, очень просто, если судить по тому, как упрощенно и грубо пишут об этом. В частых описаниях убийств чувствуется все то же «бытовое» отношение к человеку, как ничтожеству и дешевке.

И как будто уже есть люди, которые, привыкнув драться, не находят себе места в жизни, сравнительно мирной, хотя она и требует неизмеримо большего и продолжительного напряжения всех сил, всей воли, чем этого требует драка с оружием в руках.

Героев на час и героев на день у нас было много, но они не оставили особенно яркого следа в жизни и, несмотря на бесспорное мужество подвигов, не могли заметно изменить ее тягостных условий.

Но вот условия изменены, требуется напряженная работа для дальнейшего развития их в сторону более широкой свободы творчества, требуется героизм не на час, а на всю жизнь.

Мне кажется, что молодая литература не совсем ясно чувствует глубокое различие героизма на час от героизма на всю жизнь, что ею еще не понята необходимость поэтизации труда, и что гораздо труднее, чем убить человека, вкоренить в его сознание, затемненное и отягченное различными пред-

рассудками, мысль, непривычную ему: человек – не ничтожество.

К сему – небольшая иллюстрация. В «доброе» старое время не удивлялись тому, что существуют дети-воры, а устраивали для них «Колонии малолетних преступников», где свободно действовал «метод взаимного обучения», и откуда подростки выходили вполне зрелыми и опытными ворами.

В Советской России тоже существуют колонии для «социально опасных». Я довольно хорошо осведомлен о жизни некоторых и особенно одной из них, под Харьковом, я знаю, что бывшие «социально опасные» выходят из нее в рабфаки и агрономические школы. Можно бы рассказать немало удивительного о людях этой колонии, но, к сожалению, лично мне сделать это не удобно.

Но вот на-днях я прочитал замечательную книгу «Республика Шкид». Ее написали два подростка, бывшие воры, воспитанники «Школы имени Достоевского для трудно воспитуемых». В этой книге авторы отлично, а порою блестяще рассказывают о том, что было пережито ими лично и товарищами их за время пребывания в школе. Они сумели нарисовать изумительно живо ряд характеров и почти монументальную фигуру «Викниксера», заведующего школой. Значение этой книги не может быть преувеличено, и она еще раз говорит о том, что в России существуют условия, создающие действительно новых людей. Возможно, что скажут: все это – исключения. Я добавлю: которые стремятся быть правилом.

В юности, когда я ненасытно читал все книги, какие попадали в руки мои, я заметил на ларьке старьевщика одну, растрепанную, в скучной, серой обложке, в рыжих пятнах сырости, сквозь пятна проступали черные, значительные слова титула:

КНИГА МУДРОСТИ И ЛЖИ.

Хотя денег у меня не было, но я приобрел эту книгу в собственность. Впоследствии я был сторицею наказан за это: у меня раскрали десятки книг.

«Книга мудрости» оказалась сборником грузинских сказок, читать ее было скучно, и я не нашел в ней ничего, что осталось бы в памяти моей.

Несколько месяцев тому назад эта книга снова попала в руки мне. Ее составил Савва Сулхан Орбелиани, напечатана в Петербурге, в 1878 г., по распоряжению факультета восточных языков. Прочитал я ее с наслаждением, и вот самое мудрое, что нашел в ней:

«Визирь рассказал царю о рае и много врал, преувеличивая действительную красоту его».

Представляю все, что могут сказать люди здравого смысла о визире и как они ловко обратят выписанную мной цитату против меня, против этой статьи!

А все-таки восхищает меня мудрая дерзость визиря, преувеличивающего «действительную» красоту несуществующего! Это меня гораздо более восхищает, чем преувеличенные описания действительного ада, созданного на земле

дружными усилиями различных людей.

Именно вот этой безумнейшей дерзостью человека, силою воображения, интуиции осуществлено все то, чего не было на земле – чудеса науки, волшебство искусства, все, чем великий Муж Земли может гордиться.

И этой же дерзостью воображения, интуиции, упорной, неутомимой работой осуществится все то, чего нет еще, но что будет, если хорошо пожелать.

Человек уже тысячи раз доказал, что он может быть тем, каким хочет быть.

Двадцатого марта исполнилось двести лет со дня смерти Исаака Ньютона, одного из гениальных людей мира нашего.

В Лондоне, в Вестминстере, на гробнице Ньютона написано:

– «Да поздравят себя смертные, что существовало такое и столь великое украшение рода человеческого».